

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5. //Правда,
Москва, 1977
FB2: , 25 April 2008, version 1.0
UUID: b3681b9d-7fad-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

История одной жизни

Мрачный осенний петербургский день с пронизывающим до костей холодным северным ветром близился к концу. Отливая от центральных частей города, пешеходы, угрюмые и голодные, торопились по домам.

В это время к углу Невского и Лиговки приковылял, имея на плечах ларек, маленький мальчуган в большом измызанном картузе, нахлобученном на уши.

Окинув быстрым и зорким взглядом местность и главным образом местопребывание «фараона», то есть городского, маленький человек опустил ларек у тротуара в нескольких шагах от Невского и стал выкрикивать звучным тоненьким голоском в упор проходящим по Лиговке:

– Спички, да хорошие! Бумаги и конвертов! Не пожелаете ли, господин?

Засунув покрасневшие от холода руки в карманы, мальчик то и дело подпрыгивал и ежился, так как костюм его был далеко не по сезону. Довольно жидкое порыжелое пальто неопределенного цвета, сидевшее мешком и,

очевидно, шитое на человека более зрелого возраста, и тонкие летние панталоны соответствовали скорее итальянскому климату, чем этой подлой, «собачьей» петербургской погоде. Высокие намокшие сапоги, тоже предназначавшиеся, по-видимому, на более крупные ноги, требовали по меньшей мере основательной починки. Едва ли не самой лучшей частью костюма был вязанный шарф, обмотанный вокруг шеи и скрывавший от нескромных глаз рваную ситцевую рубашу и нечто вроде жилета.

– Купите, господин! Поддержите коммерцию!

Голос мальчугана выкрикивал все ленивее и безнадежнее. Казалось, он и сам понимал, что ни один из этих торопившихся прохожих в такую погоду не остановится, чтобы поддержать отечественную коммерцию. И если он все еще предлагал и спички, и бумагу, и конверты, то более для очистки своей торговой совести и, главное, из страха иметь недоразумения с одним человеком, которого он называл «дяденькой», не чувствуя, впрочем, к нему никаких родственных чувств.

Мальчик не ошибался в своих предположениях. Действительно, ни одна душа не откликалась на его призыв. Всякий спешил в теплую квартиру, думая об обеде, а не о письменных принадлежностях. Никто даже и не взглянул на этого вздрагивающего мальчугана в уродливом картузе и не слышал тоскливой нотки, звучавшей в этих назойливых предложениях поддержать коммерцию.

Но вдруг в глазах мальчика блеснула надежда.

Он увидел солидного плотного господина в отличном теплом пальто и с цилиндром на голове под руку с молодой и хорошенькой барыней. Несмотря на отвратительную погоду, господин вел свою даму не спеша и, наклонив к ней голову, о чем-то говорил ей с самым умильным выражением на своем полноватом и не особенно моложавом лице.

Опыт недолгой, но уже богатой уличными наблюдениями жизни маленького человека привел уже давно его к выводу, что господин, гуляющий под руку с молоденькой барыней и разговаривающий с ней, чересчур близко наклонившись к ее уху, – несравненно отзывчи-

вее, и добрее, и охотнее поддерживает коммерцию, чем господин, идущий одиноко или с дамой некрасивой, или преклонного возраста.

Все эти соображения заставили мальчика предположить, что письменные принадлежности крайне необходимы господину, и он, еще не зная, что нет правил без исключений, торопливо вынул из ларька пачку бумаги и конвертов, подбежал к проходившей паре и крикнул, протягивая пачку:

– Милый барин! Купите у бедного мальчика! Поддержите коммерцию.

Молодая женщина вздрогнула от этого неожиданного окрика, а господин гневно произнес, хватая за руку мальчика:

– Ты как смеешь приставать, негодяй, а? Вот я сейчас кликну городского!

Мальчуган рванулся из рук господина и побежал к ларьку, испуганный и несколько изумленный таким неожиданным оборотом дела. Он успокоился только тогда, когда господин с дамой продолжали свой путь и скрылись, после чего не отказал себе в маленьком удовольствии – погрозить им вслед кулаком и

затем пустить вдогонку:

– Тоже... городской!.. Сволочь!

Прошло еще минут десять. Мальчику становилось очень зябко, и он собирался было сняться с места и закончить на сегодняшний день торговлю, как внимание его привлекла дама в глубоком трауре, шедшая опустив голову.

Обязательно следовало сделать еще попытку. Вид этой барыни подавал некоторую надежду.

И он проговорил самым трогательным голосом, владеть которым приучила его недавняя профессия нищенки:

– Милая барыня! Купите бумаги... Дешево отдам... Пятачок две тетрадки!

Барыня подняла голову и взглянула на мальчика. Его бледное, посиневшее от холода лицо, худое, с тонкими, красивыми чертами и с бойкими, бегающими, как у мышонка, кариими глазами, тотчас приняло притворно жалобное выражение.

– Купите, милая барыня...

Тень грусти омрачила лицо дамы в трауре, точно при виде этого худенького, болезненно-

го мальчугана она вспомнила кого-то...

Она остановилась, торопливо вынула портмоне и протянула мальчику двугривенный.

– Пятнадцать копеек сдачи... Извольте получить бумагу... Бумага первый сорт! – говорил мальчик значительно повеселевшим и уже деловым тоном человека, совершившего выгодное дельце.

– Сдачи не надо, и бумагу себе оставь, мальчик, – промолвила дама.

– Не надо? – изумился мальчик.

И, зажав в кулачке монетку, он горячо и торопливо проговорил:

– Дай вам бог здоровья, милая барыня!

– А ты, мальчик, шел бы домой... Холодно.

– И то зябко... Сейчас иду...

– Сколько тебе лет?

– Пятнадцатый...

– Пятнадцатый год, и такой маленький? А как зовут?

– Антошкой...

– Ты у кого живешь?

– У дяденьки...

– Ты, Антоша, приходи ко мне как-ни-

будь... Я тебе дам платья...

И дама в трауре сказала свой адрес и фамилию, ласково кивнула головой и ушла.

Антошка несколько мгновений стоял с разинутым ртом. Житейский опыт не очень-то баловал его людским сочувствием и не располагал к оптимизму. И обещание платья и, главное, такая щедрая подачка, признаться, значительно удивили его.

Прежде, еще недавно, когда он «работал» на петербургских улицах в качестве «бедного сиротки», гонявшегося за прохожими с жалобными причитаниями дать копеечку, и затем в роли мальчика, которому не хватает двугривенного на покупку билета до Твери или до Пскова (смотря по вокзалу, у которого Антошка стоял), или в роли только что выпившегося из больницы, – случалось, хотя редко, что ему и попадали двугривенные от сердобольных людей, но с тех пор как он стал ходить с ларьком и продавать спички, бумагу и конверты, ни одна душа не принимала в соображение его собственных нужд, и каждый старался купить и спички и бумагу дешевле, чем где бы то ни было, точно считая, что дать

мальчику с ларьком лишнюю копейку – значит потакать грабежу.

Вероятно, подобными житейскими наблюдениями следовало объяснить и то, что в сердце Антошки после первых мгновений радости закралось вдруг подозрение насчет доброкачественности двугривенного.

И он с серьезным, деловым видом опытного человека, умеющего отличить олово от серебра, взял монетку в зубы и несколько раз куснул ее. Испытание на мелких острых зубах и затем металлический ее звон на камне мостовой убедили мальчика, что монетка не фальшивая. Тогда он с удовлетворенным и довольным видом опустил ее не в кожаный кошелек, в котором хранилась выручка сегодняшнего дня, а в карман штанов, решив, что, по всей справедливости, о которой он имел понятие, двугривенный принадлежит ему одному и что, следовательно, отдавать его «этому дьяволу», как он мысленно называл «дяденьку», было бы величайшей глупостью.

Вслед за тем он достал карандаш и свою записную книжку, служившую ему в то же время и учебной тетрадью, в которой он списы-

вал, учась самоучкой, названия вывесок, после того как мог уже списать фамилии спичечного и бумажного фабрикантов, изделиями которых торговал, – и не без некоторого напряжения и больших гримас вывел каракулями, смутно напоминавшими печатные буквы: «Гаспажа Скварцова, Сергифская, Э 15».

Ларек тщательно был накрыт клеенкой. Оставалось вскинуть его на плечи и идти на Пески, на постылую квартиру «дяденьки», предварительно умненько распорядившись с двугривенным, как над самым его ухом раздался чей-то сиплый и приятный басок:

– Здравствуй, Антошка!

Антошка радостно и весело улыбнулся, увидев перед собой довольно странную фигуру пожилого человека с испитым и изможденным лицом, сохранявшим, несмотря на резкие морщины и припухлость век, еще остатки выдающейся красоты, – с большой и сильно заседевшей черной бородой, тщательно расчесанной, и с глубоко сидящими в темных впадинах черными глазами, глядевшими с выражением угрюмой, спокойной и вместе с тем какой-то презрительной грусти, какое

бывает у опустившихся, когда-то знавших лучшие времена людей. В этих глазах светилось теперь что-то бесконечно ласковое.

Одет этот господин был в невозможно ветхое и совсем лоснившееся пальто, но, видимо, с претензией на аккуратность и некоторое щегольство: пуговицы были целы, и нигде не видно было дыр, хотя заплаток было довольно. Панталоны были в таком же роде. Серое кашне скрывало ночную сорочку, рукава которой, видневшиеся на худых волосатых руках, были не особенно грязны. На маленьких ногах были стоптанные резиновые калоши, а на руках – изящной формы, с длинными пальцами – лайковые заношенные и заштопанные перчатки. Совсем порыжелый цилиндр был одет чуть-чуть набекрень, а из-под него выбивались седоватые кудри. Несмотря на этот почти нищенский костюм, в осанке и манерах этого господина сразу чувствовался барин.

– Здравствуйте, граф...

Под кличкой «граф» этот господин был известен в числе многих обитателей трущоб и Антошке, который познакомился с ним год

тому назад, нищенствуя у вокзалов; он несколько раз исполнял поручения «графа» по доставлению писем в разные богатые квартиры и пользовался его благосклонностью. «Граф» был единственным в мире человеком, который всегда дружески и участливо относился к Антошке, платил ему за комиссии, если Антошка приносил благоприятные ответы, даривал леденцы и, случалось, зазывал к себе в «лавру» [1], где жил в угле, угощал чаем и вел с ним беседы довольно своеобразного философского характера.

– Ты это что?.. С ларьком нынче?.. Давно?..

– С лета, граф...

– Лучше, чем прежняя работа, а?

– Лучше... И фараонов не так опасешься...

Показал жестянку, и шабаш!

– А как дела! Хорошо торгуешь?

– Плохо, граф... Летом еще ничего, а теперь... Главное, погода! Вот спасибо одной барыне... Добрая... Целый двугривенный подарила...

– Ишь какая добрая! – иронически протянул «граф».

– И бумаги не взяла... И велела прийти к

себе за платьем... А я двутривенный «дяденьке» не отдам... Как, по-вашему, граф? Отдавать?

– Никоим образом. Он твой! – категорически заявил «граф» и прибавил: – А ты, братец, скажи своему подлецу «дяденьке», чтобы дал тебе обмундировку потеплей, а то в чем, скотина, выпускает! Скажи ему, что генерал Езопов – запомни фамилию! – тебя остановил и расспрашивал, какой такой подлец хозяин, что посылает мальчика в таком виде... Понял?

– Понял... скажу... А если спросит: какой из себя генерал?

– Скажи: сердитый такой, с большими глазами... Усищи длинные-предлинные! – улыбаясь, объяснял «граф».

– Беспременно скажу, – радостно промолвил Антошка.

– Что твой дяденька-мерзавец... По-прежнему тебя бьет? – участливо спрашивал «граф».

– Теперь полегче... Маленьких шибко бьет. Ремнем больше, черт! А, главное, она – настоящая ведьма!

– Уйти тебе от них надо, вот что...

– Никак нельзя... Он говорит, что я ему проданный по бумаге... И, кроме того, племянник... Везде, говорит, тебя разыщут...

– Глупый! Нонче людей не продают... И какой ты ему племянник? Он все врет... Однако иди, иди, Антошка... Замерзнешь... Ишь погода! – проговорил «граф», сам пожимаясь от холода. – Да завтра же зайди ко мне, слышишь?..

– А где вы теперь живете? Я в «лавре» был... Там вас не оказалось.

– В больнице три месяца лежал и, видишь, отлежался! Теперь я не в «лавре» живу, а у Бердова моста, дом сто четыре, во втором дворе, у прачки... Запомни адрес. Да спрашивай не графа...

– Не графа? – удивился Антошка.

– То-то не графа! – усмехнулся «граф», – а Опольева, Александра Ивановича Опольева. Не забудешь?

– Не забуду... А то записать разве?

– Уж и писать выучился? Ай да умница!.. Только векселей не пиши! – вставил «граф» с грустной улыбкой... – Я тебе когда-нибудь

объясню, что такое вексель... Постой... у тебя руки как у гуся... Давай карандаш...

Он записал адрес и фамилию и, отдавая листок мальчику, сказал:

– Смотри же, завтра приходи... Я тебя угощу и побеседуем, как тебе от твоего разбойника уйти... Только ему ни слова... До свидания, Антошка!

С этими словами «граф» как-то важно приподнял голову, слегка выпятил грудь и скоро скрылся в полутьме сумерек, а Антошка, вскинув на плечи ларек, бодро зашагал на Пески, весьма довольный и встречей с «графом» и двугривенным, столь неожиданно попавшим в его карман и позволившим ему побаловать себя роскошным обедом.

Зайдя в закусочную, он спросил себе порцию селянки, запил ее двумя стаканами горячего чая и затем забежал в мелочную лавочку и на пяточок спросил леденцов. Засунув себе в рот сразу штуки четыре, Антошка остальные бережно завернул в бумагу и, спрятав их за голенище, вышел из лавки.

После такого лукулловского пиршества [2] Антошка почувствовал себя и счастливее, и

бодрее, и совсем не думал о жидких, пустых щах у «дяденьки». Эти щи и вообще-то не прельщали его – до того они были водянисты и мало насыщали, а теперь, вспомнив о них, он даже сделал гримасу.

Слова «графа» о том, что Антошка «не проданный», значительно подняли его дух, и он продолжал свой путь, мечтая о том времени, когда он будет сам от себя продавать и спички, и бумаги, и конверты, и разные другие вещи, купит себе сапоги и полушубок и не будет жить у «дьявола дяденьки». В этих ребячьих мечтах заброшенного, несчастного мальчика, никогда не знавшего нежной ласки, не знавшего ни матери, ни отца, не забыты были и «граф» и маленькая Нютка, его любимица, жившая, как и он, у «дяденьки». Что же касается нелюбимых людей, то Антошка не без злобного чувства мечтал о возмездии. Хорошо было бы «дяденьку» засадить в тюрьму на вечные времена, а «ведьму»... Он придумывал ей разные беды и в конце концов решил, что было бы недурно, если б ее переехала конка и она бы издохла.

Однако, когда Антошка вошел в ворота

знакомого деревянного дома на окраине Песков и поднимался по темной вонючей лестнице в «дяденькину» квартиру, его охватило невольное, знакомое еще с детства, чувство робкого страха, и ему представлялась пьяная физиономия «дяденьки» с ремнем в руках и рядом «ведьма», подзадоривающая его своим подлым смехом.

Счастливые мечты сразу выскочили из головы Антошки, и он, удрученный, с чувством узника, возвращающегося в тюрьму с жестокими тюремщиками, вошел в незапертые двери темной прихожей, робко пробрался мимо кухни и очутился в крошечной комнатке, в которой помещались все мифические «племянники» и «племянницы», работавшие на «дяденьку» в качестве уличных нищенок.

Посредине этой грязной, низкой и сырой комнаты, освещавшейся тусклым светом стенной лампы, стояли небольшой стол и две скамейки, на которых была разбросана разная мокрая рвань, отдававшая запахом гнили. Это было верхнее платье «пансионеров», разложенное для просушки. Никакой другой мебели не было. На этом же столе среди ве-

щей стояла деревянная чашка, из которой жадно хлебал холодный суп белокурый мальчик лет восьми. Остальные обитатели, уже вернувшиеся с работы, сдавшие свои выручки «дяденьке» и поужинавшие, лежали на полу, на тощих матрасиках, рядом, вповалку, прикрытые какою-то старой ветошью и согреваясь более теплотою собственных тел. Маленькие соломенные подушки поддерживали детские головы.

Почти все дети спали, вдыхая в себя смертоносный воздух.

Антошка снял с себя ларец, затем разулся, сунув под свой матрасик сверток с леденцами, надел какие-то дырявые башмаки и хотел было снимать свое намокшее пальтецо, как вдруг из-за стены донесся жалобный детский вопль, заглушаемый пьяным грубым мужским голосом.

– Это Нютку! – шепотом проговорил белокурый мальчик.

– За что? – отрывисто спросил Антошка.

– Всего два пятака принесла...

– Ишь... подлые!.. – шепнул Антошка, и в его глазах сверкнул огонек.

Через минуту в комнату вбежала с плачем маленькая, совсем худенькая девочка с черными растрепавшимися волосенками и, увидев Антошку, проговорила прерывающимся от рыданий голосом:

– Ан-тош-ка... У-бей бо-г нап-расно. Я гро-ши-ка не утаила...

И, понижая голос, прибавила:

– Он бы прос-ти-л, а она... тварь под-лая...

– Он чем тебя, ремнем или руками? – осведомился довольно объективно белокурый мальчик, засовывая в рот последний кусок черного хлеба.

– Рем-нем... Пять раз... Больно... Ах, больно, голубчики!

Антошка проговорил с важным видом:

– Подожди, Анютка... Мы на этих дьяволов управу найдем... Най-дем! – прибавил он, вспоминая вдруг слова графа. – Мы не проданные... Не реви, Анютка...

И с этими словами он достал сверток и подал его Нютке.

– На вот, ешь... только дай два леденца Алешке... Больше не давай... Ешь.

Нютка сквозь слезы улыбнулась и набро-

силась на леденцы с жадностью дикого зверька.

В эту минуту двери бесшумно отворились, и на пороге показалась высокая худая молодая женщина в юбке, в сером платке на голове, из-под которого выбивались пряди рыжих волос.

Она вошла тихо, подкравшись, как кошка.

Антошка первый заметил «ведьму» и кинул выразительный взгляд, предостерегающий об опасности, на своих маленьких товарищей.

Нютка немедленно зажала в своей грязной ручонке оставшиеся леденцы, проглотив, не без риска подавиться, бывшие у нее во рту, и с выражением испуга на своем заплаканном лице бросилась к постели и легла, притихшая и оробевшая, словно виноватая собачонка.

Алешка, успевший съесть свои два леденчика в мгновение ока и глядевший в рот девочки с чувством зависти и очарования, побрел к своему матрацу с видом человека, не имеющего достаточных оснований опасаться трепки.

Между тем рыжая женщина, успевшая

подслушать слова Антошки, подозрительно оглядела комнату и, заметив валяющуюся на полу серую бумажку из-под леденцов, подняла ее с полу и, обращаясь к Антошке, проговорила своим резким, низким контрольным голосом:

– Ты что ж это, подлец, не идешь сдавать выручку? До каких пор ждать тебя, мазурика?

«Ведьма» любила вообще уснащать свои речи бранью, но особенно в сношениях с Антошкой, которого терпеть не могла больше, чем остальных детей этого заведения своего супруга, так как чувствовала, что Антошка, несмотря на свою видимую покорность, является, так сказать, протестующим элементом и, кроме того, как-то подозрительно и насмешливо улыбается, когда «ведьма» посылает его за сорокоушкой, чтоб угостить гостя – молодого наборщика, захаживавшего по вечерам и по большей части в отсутствие мужа.

– Иду сейчас... Только что пришел! – Разутся надо... Измок... – отвечал не особенно мягко Антошка.

– Измок! Ишь какой сахарный господин! – презрительно и медленно выговаривая слова,

кинула рыжая дама, и злая улыбка искривила ее тонкие губы.

С этими словами она вышла, бросив на Антошку взгляд больших, несколько выкаченных серых глаз, не предвещавший ничего хорошего для Антошки.

В свою очередь и Антошка, ненавидевший «ведьму» с бессильной злобой загнанного волчонка, посмотрел ей вслед злыми-презлыми глазами и снова от всего сердца пожелал, чтобы «подлую» переехала конка.

– Что, Нютка, шибко пьян хозяин? – осведомился он.

– Не очень, – ответила Нютка.

Антошка через минуту вышел – сдавать «дяденьке» выручку.

Признаться, он шел далеко не спокойный, и мрачные предчувствия невольно закрадывались в его душу относительно ремня.

«Дяденька», отставной унтер-офицер Иван Захарович, сидел в одном жилете поверх розовой ситцевой рубахи за столом, на котором шумел самовар, в жарко натопленной, довольно большой комнате, разделенной ситцевым пологом, за которым помешались большая кровать и шкаф с посудой. Цветы на окнах, наклеенные на стенах вырезанные из иллюстрации картинки и портреты нескольких генералов и отца Иоанна Кронштадтского [3] свидетельствовали о некотором эстетическом вкусе хозяев. Кое-какая мебель и огромный шкаф, в котором хранился разный хлам, купленный на рынке и составлявший запасной гардероб питомцев «дяденьки», дополнял убранство, не лишенное некоторого комфорта, особенно по сравнению с конурой, где помешалась детская команда.

Сам «дяденька» медленно отхлебывал чай, попыхивая папироской, и, казалось, находился в благодушном относительно настроении довольного своею судьбой человека. Он был выпивши, но еще не дошел до «градуса», – это

еще было впереди – и его спокойный вид несколько не напоминал человека, только что жестоко отхлеставшего ремнем, опоясывавшим его чресла, маленькую беззащитную девочку.

Это был плотный и крепкий человек лет за сорок, с грубым, так называемым «солдатским» лицом. Красное, одутловатое, испещренное рябинами, с толстым носом и толстыми губами, окаймленное черными баками и окладистой бородой, оно далеко не отличалось привлекательностью. Маленькие, заплывшие и плутовские глаза светились масляным блеском. В них было что-то хищное и выдавало прожженную каналью, прошедшую житейские «медные трубы».

Действительно, Иван Захарович перепробовал много профессий после того, как вышел в отставку.

Он был швейцаром, сидельцем в кабаке, рассыльным, но не уживался на местах, имея слабость и к вину, и к картам, и к прекрасному полу, – слабость, заставлявшую его не всегда быть особенно разборчивым, если ему поручали деньги. Он их частенько таки терял и,

вероятно, благодаря только своей счастливой звезде не попал в сибирские Палестины.

Долго он влачил полунищенское состояние: торговал на рынке старым платьем, ходил в факельщиках, носил шарманку, сопровождая «Петрушку», и не оставлял сладкой надежды выбиться и жить «как люди», не обременяя себя праведными трудами. И, наконец, напал на счастливую мысль – открыть «заведение» для детей.

Осуществление этой идеи не потребовало особенных затрат. Хорошо знакомый с труппами, он знал, что в Петербурге детского товара сколько угодно, и при известной осторожности предприятие его не представляло большого риска.

И Иван Захарович «арендовал» несколько беспризорных и брошенных детей у нищих их родственников, обещая содержать детей и вдобавок еще платить за это известную сумму денег. Антошку, впрочем, Иван Захарович приобрел почти задаром у одной пьянчужки-вдовы у которой ребенок очутился на руках после смерти его матери-прачки.

Дела Ивана Захаровича сразу пошли хоро-

шо. Маленькие нищенки ежедневно приносили ему изрядную выручку, и он держал их в ежовых рукавицах, строго наказывая, если они приносили, по его мнению, мало. Справедливость требует, однако, сказать, что до женитьбы Ивана Захаровича положение детей было сноснее: их и кормили лучше, и Иван Захарович бил их только тогда, когда был очень пьян уже к вечеру, когда он возвращался из трактира, а дети с «работы». Жившая при нем в качестве помощницы корявая Агафья жалела детей и часто их защищала.

На беду Иван Захарович влюбился в рыжую, худую Марью, встреченную им в трактире, который он посещал и где он за стаканчиком водки нередко беседовал с приказчиком о политике и вообще вел отвлеченные разговоры, до которых был охотник. Трудно сказать, чем привлекла Ивана Захаровича эта девица: своими ли выкаченными наглыми глазами, умением ли ругаться хуже извозчика, белым ли, покрытым веснушками лицом, не потерявшим еще свежести молодости, но только Иван Захарович окончательно «втю-

рился» и очень скоро женился.

С тех пор как водворилась Марья Петровна, положение детей стало воистину ужасным.

Дети прозвали новую хозяйку ведьмой и боялись ее больше «дяденьки», понимая, что она главная виновница тех жестоких побоев и истязаний, каким они теперь подвергались.

Раздирающие вопли и стоны раздавались в квартире почти каждый вечер при возвращении озябших и продрогших детей с «работы». «Ведьма» находила, что они мало приносят выручки, что они обкрадывают «дяденьку», и с какой-то холодной жестокостью虐待ливала супруга на детей.

И, несмотря на разные благотворительные общества, существующие в Петербурге, несмотря на множество блестящих дам-благотворительниц, никто не слышал этих детских стонов, никто не приходил на помощь обреченным страдальцам.

III

— Много принес? – спросил Иван Захарович, увидав вошедшего в комнату Антошку.

– Немного, – отвечал Антошка, приближаясь к столу.

– А по какой такой причине? – строго спросил «дяденька», останавливая взгляд на мальчике.

– Погода...

– Что погода!? Ты, верно, подлец, по трактирам сидел, а?

– И вовсе не сидел...

– Ну, давай... выкладывай...

Антошка высыпал деньги из кошелька.

Было всего тридцать копеек.

– Только и всего?

– Только... Совсем покупателей нет... И меня даже один генерал остановил, – вдруг прибавил Антошка, вспомнив совет «графа» и имея в виду не столько припугнуть «дяденьку», сколько отвлечь его внимание от щекотливого разговора насчет выручки.

– Какой такой генерал?

– Важный, должно быть. Такой высокий и с большими усами... И сердитый... Остановил это он меня у Гостиного двора и спрашивает: «По какой причине ты, мальчик, шляешься по улицам в таком рваном пальте?.. Это, говорит, не полагается, чтобы по такой холодной погоде и без теплой одежды... Кто, говорит, тебя посылает? Сказывай, где ты живешь?»

Не лишенный, как оказывалось, некоторого художественного воображения, Антошка врал блистательным образом и не моргнувши глазом, испытывая в то же время внутреннее злорадство при виде беспокойного выражения на лице «дьявола».

– Что ж ты сказал этому генералу? – не без тревоги в голосе нетерпеливо спросил Иван Захарович.

– Живу, мол, ваше сиятельство, у родного дяденьки... А квартируем мы...

– Что-оо?.. Разве я вам, подлецам, не приказывал никогда не говорить, где вы живете!.. – перебил, закипая гневом, Иван Захарович. – Знаешь ли, что я за это сделаю с тобой, с мерзавцем?..

Иван Захарович проговорил последние

слова таким зловещим тоном, и его лицо исказилось такой злостью, что Антошка невольно попятился и поспешил проговорить:

– Да я, дяденька, не сказал ему настоящего адреца... Я совсем другой дал... На Острове, мол, квартируем, в пятнадцатой линии... Пусть ищет...

– То-то! – облегченно промолвил Иван Захарович. – А то бы тебя до смерти избил... Так бы и издох... Ты это помни... А теперь я скажу, что ты молодец, Антошка... Всегда так отвечай... Какое кому дело, где мы живем? – прибавил Иван Захарович, окончательно успокоенный, и даже взглянул одобрительно на Антошку, как на достойного своего ученика, ловкого и смышленного, пославшего генерала на Васильевский остров... «Прогуляйся, мол!»

И после незначительной паузы проговорил:

– А я тебе, Антошка, завтра другое пальтецо подберу... форменное пальтецо... на байковой подкладке... у татарина купил... И фуфайку дам... Я, братец, старательных ценю... И ты цени... Старайся для дяденьки... Помни, что я тебя вскормил и воспитал... Без меня пропал

бы ты, как паршивый щенок у забора, а я вот тебя человеком сделал... Да... Какой человек ежели неблагодарный, того бог накажет. Ты этого не забывай, Антошка! – философствовал Иван Захарович. – И выручки правильные носи! – неожиданно перешел он на вопрос чисто практического характера. – А то – тридцать копеек! За это, по-настоящему, следовало бы тебя наказать, но я прощаю... Чувствуешь ты это?

Хотя Антошка и после этой трогательной речи не переставал питать к «дяденьке» далеко не дружелюбные чувства и сию минуту засадил бы его на вечные времена в острог, тем не менее выразить этого не посмел и довольно-таки недурно, с точки зрения декламаторского искусства, проговорил, благоразумно опуская свои мышинные карие глазенки, которые могли бы его выдать:

– Я завсегда чувствую, дяденька...

– То-то, чувствуй...

Антошка со свойственным его возрасту легкомыслием уже считал себя вполне обеспеченным, по крайней мере на этот вечер, от ненавистного ремня. Слишком увлеченный

столь благоприятными результатами от своей встречи с генералом, он хотел было отжаться еще на одну подробность генеральской беседы, а именно сказать, что генерал приказал ему продавать спички, бумаги и конверты не иначе как в полушубке и в крепких сапогах, как в эту самую минуту из-за порога показалась «ведьма», уже без платка на голове, с причесанными не без кокетства рыжими волосами, взбитыми на лбу, в голубой ситцевой кофточке и с вымытыми руками.

Повиливая бедрами, она подошла к столу и, присаживаясь у самовара, проговорила самым любезным и вкрадчивым тоном:

– Наливать, что ли, еще, Иван Захарыч?

– Налей, Машенька, – отвечал Иван Захарович, передавая стакан и с нежностью взглядывая на эту белолицую, всю в веснушках молодую женщину лет двадцати пяти, с вздернутым кверху курносый носом, выкаченными серыми наглыми глазами и тонкими губами.

Взглянул исподлобья на нее и Антошка, очевидно совсем не разделявший взглядов «дяденьки» на красоту его супруги. Он нахо-

дил, что отвратительнее этой «курносой ведьмы» не было существа на свете. И худа-то она, ровно ободранная кошка, и на ее «подлой морде» черти отметины сделали в виде веснушек, и руки у нее в виде «крючков», и нос дырявый... одним словом, как есть настоящая ведьма!

Он сообразил отлично, для кого это она принарядилась, и только удивлялся «дяденьке», как это он совсем ею «облещен» и слушается ее, вместо того чтобы таскать ее за косы и бить поленом каждый день, а не в исключительных только случаях, когда он, совсем пьяный, случалось-таки, таскал за косы, но все-таки, глупый, ни разу не отдубасил поленом...

Антошка дипломатически кашлянул, чтоб получить разрешение уйти (присутствие «ведьмы» вместе с воспоминанием о поднятой ею бумажке из-под леденцов наводило его на тревожные мысли) и закатиться спать, и Иван Захарович хотел было отпустить его, как «ведьма» вдруг хихикнула и насмешливо проговорила, кивнув головой на Антошку:

– И ты, Иван Захарыч, веришь этому подлему мазурику? Ах, какой же ты, Ваня, про-

стой... Ах, какой простой...

Обвинить Ивана Захаровича в простоте значило задеть самую чувствительную струну его мошеннической души. Он, как и все прожженные плуты, именно гордился тем, что проведет каждого, и потому предположение жены, что его мог оболванить мальчишка, показалось ему слишком обидным, и он произнес:

– В каких это смыслах понять, Машенька?..

– Мало ли чего он набрешет, а ты по доброте своей и веришь... Какой генерал станет с ним разговаривать, и кому нужно узнавать, где живет этот змееныш... Я за ним слежу... Знаю, как он бесстыж врать... Все-то он тебе набрехал, Иван Захарыч...

– И вовсе не набрехал, Марья Петровна... Хучь сейчас под присягу, что генерал со мной говорил... И фамилию свою даже объявил: я, говорит, генерал Езопов, – с энергией отчаяния произнес Антошка, имея, впрочем, о присяге довольно смутные понятия.

Надо полагать, что и относительно всеведения господ бога Антошка имел далеко не точные представления или же полагал, что

господь милосердно терпит вранье несчастных мальчиков, спасающих свою шкуру от толстых ременных поясов, потому что нисколько не затруднился в доказательство действительности встречи с генералом прибавить:

– Как перед истинным богом говорю... Пусть разразит меня на этом месте, если я вру...

И вслед за тем еще перекрестился несколько раз, нисколько не думая, что совершает грех.

По счастью, Иван Захарович никогда не видал генерала Езопова, хотя и слышал, что есть такой генерал, занимающий видное место, и не потребовал более подробного описания его наружности, довольствуясь лишь «длинными усами». Он только взглянул на свою супругу не без торжества человека, оправданного от взведенного тяжкого обвинения, и сказал:

– Я, Машенька, наскрозь человека вижу... Меня не обманешь. Шалишь, брат... Откуда бы услышал Антошка, что есть генерал Езопов. А я, Машенька, знаю, что есть в Петер-

бурге такой генерал... Об нем и в газетах пишут... Небось меня не объегоришь... Не таковский! – снова повторил Иван Захарович, хвастливо подмигивая глазом.

По лицу «рыжей дамы» скользнула едва заметная насмешливая улыбка.

– Ну, хорошо, пусть генерал и говорил с этим подлюгой... Пусть. А ты, Иван Захарыч, спроси-ка у него, на какие это деньги он сейчас угощал леденцами Нютку и Лешку... Пусть-ка ответит, мерзавец! – проговорила «ведьма».

– Леденцами!? – воскликнул Иван Захарович и вперил на Антошку злые глаза.

Антошка понял, что дело принимает весьма серьезный оборот. Сердце в нем упало. Бледное лицо вдруг приняло испуганное выражение затравленного зверька.

А «рыжая ведьма» между тем продолжала:

– Спроси-ка у него, как он найдет на тебя управу... Я своими ушами слышала, как он грозился. «Мы, говорит, найдем управу на этого дьявола!» Это он про тебя, Иван Захарыч... Вот как он ценит твою заботу... Вот как он обкрадывает нас... А ты ему, подлому, и пове-

рил... Принес всего тридцать копеек, а сам леденцы... покупает!

Лицо Ивана Захаровича побагровело. Что-то беспощадно жестокое было теперь в его маленьких, засверкавших глазах и в скверной улыбке, искривившей его толстые губы.

– Так вот ты какой... змееныш? Управу?.. Леденцы покупаешь? – говорил тихим злым голосом Иван Захарович, снимая с себя толстый ремень. – Я покажу тебе управу! – засмеялся он, поднимаясь со стула.

– Да не жалея его... Пусть помнит! – встала «ведьма».

– Я не из выручки взял деньги... Мне дала их одна барыня и не взяла товару... Клянусь богом... Не встать с места... Дя-де-нька!

Он говорил эти слова и сам чувствовал их безнадежность.

Сильный удар кулаком по лицу сшиб его с ног. Он упал навзничь, стукнувшись головой об пол. Новый удар сапогом заставил его вскочить на ноги, окровавленного, с тупою болью в груди.

Злоба, страх и отчаяние вдруг залили волной его маленькое сердце. Он видел по этому

страшному лицу «дяденьки», что пощады не будет, и в его голове пробежала мысль о бегстве. Злобно сверкая глазами, словно маленький волчонок, он старался вырваться из крепкой руки Ивана Захаровича, которая держала его за шиворот, встряхивая, как щенка.

– Дя-денька! – молил Антошка. – Дя-де-нька! Вы не смеете мучить! – вдруг крикнул он в какой-то тоске отчаяния и рванулся сильнее.

– Ах ты...

И голова мальчика уже была между толстых икр Ивана Захаровича. В комнате раздались отчаянные крики... Мольбы о пощаде сменялись ругательствами. Злобный рев бес сильного животного чередовался с раздирающим душу стоном.

«Дяденька» совсем озверел. Казалось, он не помнил себя и с остервенением палача поло-совал мальчика толстым ремнем с металлической пряжкой и все сильнее и сильнее сжимал его голову.

Вопли становились реже и глуше. Мальчик задышался.

– Ты, Иван Захарыч, смотри, не задуши его! – крикнула ему «ведьма», довольно рав-

нодушно посматривая на экзекуцию и несколько не волнуясь этими криками.

– Небось... Не задушу...

Однако он чуть-чуть раздвинул ноги и в ту же минуту вскрикнул, словно от жестокой боли.

– Отпусти, подлец! Не то до смерти забью! – прошипел в бешеной ярости Иван Захарович, продолжая наносить удары.

Но Антошка не отпускал.

Точно маленький кровожадный бульдог, он вцепился своими крепкими и острыми зубами в ляжку своего мучителя и все крепче и крепче нажимал их с каким-то наслаждением мстительной злобы, готовый оторвать кусок мяса.

Иван Захарович рванулся, чтоб избавиться от этих зубов, причинявших ему жестокую боль, и серьезно проучить дерзкого мальчишку.

Но Антошка не зевал и вообще обнаружил в этот вечер редкую находчивость.

Почувствовав себя свободным от рук «дяденьки», он с ловкостью уличного мальчишки, бывавшего в переделках, изо всей силы

дернул его за ногу, и Иван Захарович, и без того не особенно твердый на ногах, грохнулся наземь. Еще мгновение, и «ведьма» получила удар в живот, после чего Антошка, схватив со стола стакан с горячим чаем, не отказал себе в удовольствии удовлетворить свою злобу, выплеснув жидкость прямо в ее «поганую морду», и, не теряя затем драгоценного времени, выскочил из комнаты и стремглав бросился вон из квартиры, не заметив даже Нютки, которая выглядывала из дверей с застывшими от ужаса и страха черными большими глазами.

IV

Опасаясь погони, Антошка несколько времени бежал что есть духу по глухой дальней улице Песков. Пробежав порядочное расстояние, он завернул в какой-то переулок и остановился, чтобы передохнуть, прийти в себя и обдумать свое положение.

Положение мальчика в этот осенний холодный вечер в летнем намокшем и разорванном пальтишке и рваных старых башмаках на босых ногах, без шапки и даже без шарфа, одинокого как перст в большом городе, избитого и окровавленного, было не из блестящих. Но Антошка не унывал и считал, что несравненно лучше позябнуть, чем после всех происшедших столь неожиданно событий попасться к «дяденьке» и быть заколоченным насмерть. Антошка имел решительное желание жить на свете, и даже с большим спокойствием, чем до сих пор, и потому одна мысль о возможности возврата в ненавистную квартиру заставляла его вздрагивать и пугливо всматриваться в редких прохожих.

Несмотря на сильную трепку, Антошка не

без удовлетворенного чувства гордости припомнил, как прокусил ляжку «черту» и ошпарил «ведьму», находя, впрочем, что этого им мало и что, бог даст, когда-нибудь он их «разделает» еще не так. Только бы ему сделаться большим. Тогда они узнают Антошку!

Эти злые мысли быстро сменились вопросом: куда ему идти? И тотчас же решение было принято. Он пойдет к доброму «графу», и тот посоветует, что ему делать, и, конечно, не откажет в пристанище. По счастью, Антошкина записная и учебная книжка находилась в кармане, и он, приблизившись к фонарю, не без труда разобрал адрес, написанный мелким почерком «графа».

Оставалось еще привести себя в некоторый порядок. Он увидел, что руки его были в крови, и догадался, что это от расквашенного носа, за который он хватался; необходимо было смыть кровь ввиду предстоящего путешествия по освещенным улицам и придирчивости «фараонов».

Ведро с водой у водосточной трубы, замеченное Антошкой поблизости, доставило ему возможность не только пополоскать руки и

вымыть лицо, но и освежить воспаленную голову... Она, казалось ему, была какая-то тяжелая и точно чужая, а после воды стала легче.

Возбужденный и взволнованный, Антошка двинулся в путь и сначала не чувствовал ни дьявольски холодного ветра, насквозь пронизывающего его худенькое тельце и играющего его кудрявыми волосами, ни боли в спине, покрытой синими подтеками, и торопливо шагал по улицам, осторожно обходя «фараонов», чтобы не иметь с ними каких-нибудь неприятных разговоров, какие могли бы завести эти придиричivé люди с мальчиком в рваном пальтишке и, главное, без шапки, который ищет пристанища и участия.

По счастью, дело обошлось без приключений, и через часа полтора Антошка, совсем посиневший от холода, чувствуя страшную боль в спине, поднимался по грязной лестнице в квартиру прачки, у которой жил «граф».

Невообразимо радостное чувство охватило его, когда он очутился в тепле и когда старая женщина, впустившая его, с видом изумления и в то же время жалости провела этого вздрагивающего оборванца к своему жильцу.

После не особенно удачливого дня «граф» сидел в затрапезном халате трудно определимой материи у небольшого деревянного стола и при тусклом свете маленькой лампы читал вчерашнюю газету. Он читал в ней описание какого-то великосветского бала, напоминавшее ему о близком когда-то мире суеты и тщеславия, блеска и роскоши, о прежних знакомых и родных и, судя по выражению его лица, воспоминания эти вызывали скорее чувство озлобления, чем горечи.

Он задумался, как задумывался не раз, о превратности судьбы и безнадёжности своего положения, когда скрипнула дверь и в эту крошечную, убогую комнату, все убранство которой состояло из кровати, стола и стула, вошел Антошка и, радостно взволнованный, остановился у дверей.

– Это вы, Анисья Ивановна? Что вам угодно? – окликнул «граф», не поворачивая своей кудрявой, заседевшей головы.

– Это я... Антошка!

– Антошка!? – воскликнул «граф», изумлен-

ный приходу мальчика в такую пору, и быстро подошел к нему.

Жалкий вид худенького, посиневшего и вздрагивавшего мальчугана, пришедшего в легком одеянии, в дырявых башмаках на босые ноги и без шапки, вызвал на лице «графа» выражение жалости и участия, и он тревожно спросил:

– Что случилось, Антошка? Откуда ты в таком костюме?

– Я убежал от них, от подлецов... Уж вы только не отдавайте, граф, если он потребует меня обратно... Он убьет!.. А я вам заслужу... Я на вас стану работать! – взволнованно говорил Антошка.

– Глупый! Разве я отдам тебя этим мерзавцам! Не бойся, Антошка. Что ж ты стоишь? Садись, бедный мальчик... Ишь как озяб... Сейчас чаем отогреешься... Молодец, что удрал и ко мне явился... Я тебя в обиду не дам... Надень-ка мое пальто... согрейся...

– Я и так согреюсь. У вас страсть как тепло. Славно у вас!

– Надевай пальто, говорят! – весело и ласково приказывал «граф», снимая с гвоздя

пальто. – И сапоги мои одень, а то босой почти... Так и заболеть недолго... Что, видно, денёк бил?

– Шибко бил, подлец... спина саднит... И чуть было не задушил ногами... Ну, и ему так попало! – не без гордости прибавил Антошка.

– Попало? – сочувственно улыбнулся «граф».

– Я ему ногу прокусил... до крови! – с торжествующим видом сказал мальчик.

– Ловко!.. Ты мне потом в подробности расскажешь обо всех этих событиях, а пока побудь один... Я пойду распорядиться насчет чая.

«Граф» вышел и завел конфиденциальный разговор с квартирной хозяйкой о нескольких щепотках чая и кусках сахара, о гривеннике «до завтра» и об устройстве ночлега для мальчика. Он говорил так убедительно, что хозяйка тотчас же согласилась на все его просьбы и обещала немедленно подать самовар, купить хлеба и дать тюфяк, подушку и одеяло.

– Очень благодарю вас, Анисья Ивановна! –

с чувством проговорил «граф», пожимая руку квартирной хозяйки.

– Не за что, Александр Иванович... И у меня, слава богу, христианская душа... И мне жалко этого мальчика. Что, он у вас будет жить?

– У меня пока. Бездомный сиротка этот несчастный мальчик, Анисья Ивановна... Нельзя не приютить.

– Где же он прежде-то жил? – спрашивала старая Анисья Ивановна, раздувая самовар.

– А у одного подлеца солдата... Он детей чужих берет и посылает их на улицу нищенствовать... Ну и тиранит их...

– Ах, бедные! – пожалела квартирная хозяйка и, вероятно, разжалобившись, прибавила: – Так я, кроме ситника, пожалуй, и колбасы возьму... Пусть мальчик закусит...

«Граф» еще раз поблагодарил Анисью Ивановну и, вернувшись к Антошке, весело сказал:

– Сейчас будет чай готов... Хорошенько напьемся и потом ложись спать... Хозяйка тебе постель смастерит... отлично выспишься...

Антошка благодарными глазами смотрел на «графа» и произнес:

– Без вас вовсе бы пропасть, граф... Только вы один и есть на свете добрый человек для меня...

– Ну, нечего там благодарить, – дрогнувшим голосом перебил «граф», ласково взглядывая на Антошку. – Хотя на свете и много мерзавцев, Антошка, и злых людей, но не все же такие; есть, братец мой, и хорошие... Это ты помни...

– Вы вот хороший...

– Я? – горько усмехнулся «граф». – Я прежде был, может, самый дурной... Ну да еще успеем с тобой пофилософствовать... и поближе познакомиться друг с другом. А с завтрашнего дня начнем действовать. Быть может, завтра же и оденем и обуем тебя как следует, по сезону...

– И вы меня на работу пошлете? – весело спросил Антошка. – Я умею хорошо собирать... Мне всегда подавали, когда я в нищенках был...

– Нет, Антошка, на такую работу я тебя не пошлю... К черту такую работу...

– Значит, с ларьком думаете?.. На это много капитала нужно... И товар и за жестянку! –

деловито проговорил Антошка, понимавший, что «граф», который сам, случилось, «работал» по вечерам, останавливая прохожих просьбами на разных диалектах, не находится в таких блестящих обстоятельствах, чтобы завести ларек.

И так как Антошка не желал сидеть сложа руки и объедать «графа», считая это в высшей степени недобросовестным, то деликатно напомнил, что работа в нищенках вовсе не дурная и не тяжелая, особенно если под пальтом полушубок.

Но, к крайнему изумлению Антошки, «граф» решительно запротестовал.

– Что ж я буду делать? – спросил мальчик.

– Об этом подумаем! Подумаем, Антошка! – значительно протянул «граф», оставляя Антошку в некотором недоумении.

Анисья Ивановна принесла самовар, хлеб и колбасу, и скоро Антошка с наслаждением пил чай и закусывал. За вторым стаканом он передал «графу» подробности недавних событий у «дяденьки», и «граф» несколько раз вставлял неодобрительные эпитеты по адресу «ведьмы» и ее супруга и весело улыбался, ко-

гда Антошка рассказывал о подвигах, предшествовавших его бегству.

Постель была устроена на славу доброй Анисьей Ивановной. Она принесла довольно мягкий матрац, накрыла его простыней, положила большую подушку и теплое ватное одеяло и, убирая самовар, промолвила, обращаясь к Антошке:

– Небось спать хорошо будет. Спи, Христос с тобой, бедняжка!

Сонный Антошка быстро разделся и, облачившись в чистую ночную сорочку «графа», юркнул под одеяло и тотчас же заснул, довольный, благодарный и счастливый, тронутый до глубины души нежной лаской, которую он испытал первый раз в жизни.

«Граф» заботливо ощупал голову мальчика, присел к столу и задумался.

VI

«Граф» раздумывал о том, как устроить Антошкину судьбу и не дать ему погибнуть в той развращающей атмосфере нищеты, безделья и нищенства, которую он хорошо знал по собственному опыту многих лет.

Но он поконченный человек, а способный, неглупый Антошка еще на пороге жизни...

Этот бездомный, несчастный мальчик, обратившийся к покровительству «графа» и видевший в нем своего единственного спасителя, сделался теперь как-то особенно ему близким и точно родным и словно бы явился светлым лучом, озарившим беспросветный мрак одинокой горемычной жизни павшего человека.

И озлобленное сердце этого отверженца, презираемого всеми родными и бывшими друзьями, чужого и все-таки барина в глазах тех товарищей по нищете, среди которых он вращался, втайне жаждавшего и не находившего слова участия и привязанности, — это сердце смягчалось, охваченное чувством жалости, любви и заботы к такому же бездомно-

му, одинокому созданию, как и он сам.

Этот мальчик, видимо, привязанный к нему, словно бы давал новый смысл его жизни. Сделать его человеком, иметь на свете преданное, благодарное существо – эта мысль радостно волновала «графа», являясь как бы примирением с жизнью.

Он горько усмехнулся, вспомнив, что прежде, когда он имел возможность спасти не одно несчастное существо, подобное Антошке, мысль об этом никогда даже и не закрадывалась в его голову. Он жил только для себя и думал о себе...

«Неужели надо быть нищим и отверженным, чтобы пожалеть других!?» – мысленно задал он себе вопрос и решил его утвердительно, чувствуя неодолимое желание помочь Антошке именно тогда, когда это для него было так трудно.

Он сделает все, что только возможно.

Он напишет всем своим клиентам и, быть может, соберет нужную сумму для экипировки мальчика. Разумеется, ни один из его клиентов не поверит, что он просит не для себя. Еще бы поверить! Давно уже больше рубля,

много двух, ему не посылали те из немногих родственников и товарищей, которые не всегда оставляли без ответа письма «графа», посылавшиеся в особенно трудные минуты жизни.

Наконец, он даже обратится к своему «знатному братцу», как презрительно называл «граф» своего старшего брата, занимавшего очень важный пост. Он ненавидел этого брата и в слепом озлоблении считал его лицемером, эгоистом и даже взяточником. Недаром у него огромное состояние. Откуда оно?

Он, никогда не обращавшийся к этому брату после того, как брат раз навсегда отрекся от него, готов не только написать ему, но даже после пятнадцати лет пойти к нему в его парадную казенную квартиру и, если только швейцар пустит, лично просить помочь Антошке.

И много ли нужно?

Всего каких-нибудь двадцать рублей, чтоб сделать все необходимое мальчику... И тогда можно будет посылать его в школу...

И двоюродной сестре, княгине Моравской, напишет... Она благотворительная дама...

Быть может, устроит мальчика, назначит ему какую-нибудь пенсию на содержание...

В мечтах о будущей судьбе Антошки «граф» непременно хотел, чтобы Антошка жил с ним, хотя бы первое время... Не все же это вечное одиночество. Все же около существо будет!

Двадцать рублей! Каким огромным капиталом казались эти деньги теперь «графу», швырявшему по сотне на чай в модных ресторанах во время былых кутежей!

Да, то было прежде, лет пятнадцать тому назад, когда молодой, красивый и изящный гвардейский кавалерийский офицер Опольев блистал в свете, считаясь одним из блестящих и элегантных представителей золотой молодежи, и имел все шансы на хорошую карьеру.

Он был умен, легкомыслен и бесхарактерен и жил, что называется, вовсю: кутил, ссужал приятелей, тратил направо и налево и, промотав большое состояние, доставшееся от бабушки, стал делать долги, попал в руки ростовщиков, запутался совсем и в один прекрасный день поставил фальшивый бланк от-

ца, старого генерала с большим состоянием... Это обнаружилось; отец заплатил крупную сумму, но с тех пор не желал знать сына и уже больше не простил его.

Опольев должен был выйти в отставку и скрыться с светского горизонта. От него отвернулись, разумеется, все бывшие приятели, а старший брат, лишавшийся благодаря брату-кутиле значительной доли ожидаемого наследства, совсем отказался от брата, и когда несчастный обратился однажды к нему за помощью, он отказал и велел ему передать, что не считает такого негодяя своим братом. Прежний общий любимец Шурка, веселый и блестящий Шурка вдруг сделался отверженцем.

История этого падения представляла собой одно из обычных явлений в жизни светской молодежи, явлений, которые в большинстве случаев кончаются не так печально. Многие в той среде, в которой вращался Опольев, делали то же самое и еще худшее, но эти «ошибки молодости» благодаря различным случайностям, в виде ли выгодного брака, или снисходительности родителей, нисколько не меша-

ли потом таким же виноватым, как и Опольев, остепениться и быть даже впоследствии в некотором роде столпами отечества.

Опольев хорошо понимал это. Он считал, что судьба его жестоко и несправедливо покарала за то, что проходит бесследно для других... Ни одна душа не поддержала его в это время, никто из близких не протянул ему руки серьезной помощи. Кое-кто бросал ему брезгливо подачки, считая, что исполнил долг и на некоторое время избавлялся от назойливого попрошайки.

Та самая среда, которая воспитала его и всеми своими привычками, взглядами и поступками поощряла к той же праздной и бесцельной жизни, какую вела сама, исключила его из своих членов, как недостойного, опозорившего честь касты, и Опольев был скоро всеми основательно забыт.

Возмущенный отношением тех самых приятелей и друзей, которые кутили на его счет и брали от него деньги, открывший внезапно глаза на всю подлость людей, он озлобился, хотел было пустить себе пулю в лоб, но кончил тем, что запил и махнул на все рукой в

какой-то безнадежной отчаянности человека, не способного ни к какому серьезному труду.

Подняться он уж более был не в силах. Все связи были порваны, и никакого места он получить не мог. Поступил было в частную контору, но его скоро выгнали. И он постепенно переходил все фазисы падения за эти пятнадцать лет своего паразитного существования, пока не сделался нищим пропойцем. Всего было, за что в минуты просветления приходилось краснеть...

Но за это время он кое-чему научился, о многом размышлял и многое понял.

Он понимал всю неприглядность своего существования, но зато оценил по достоинству и весь ужас прежней своей жизни. И сравнение выходило не особенно утешительное, когда он сопоставлял настоящее и прошлое. Он понял, что среда, в которой он прежде вращался, безжалостно эгоистична и зла, и возненавидел эту среду. Он близко увидел нищету и страдания обездоленных и несчастных, неудачников и свихнувшихся и понял, что они такие же люди, как и потомки Рюриковичей, и заслуживают по справедливости ино-

го отношения. Среди этих отверженных он встречал и участие и отзывчивость...

И прежний блестящий офицер, считавший «сволочью» всех, кто не может жить порядочно, обратился в протестующего скептика философа, решавшего довольно оригинально общественные вопросы и относившегося с презрительной злостью к великим мира сего и вообще к устройству самого мира, требующего, по его мнению, самой основательной встряски, и с какою-то иронической покорностью отпетого человека нес свое положение. Он ни на что уже более не надеялся и ничего не ждал. Доктора ему сказали, что при том образе жизни, который он ведет, он не протянет и пяти лет. Его это нисколько не испугало. Он усмехнулся и проговорил:

– Однако долго еще тянуть, доктор!

Опускаясь все ниже и ниже в глубину нищеты и казавшийся стариком в свои сорок пять лет, он все-таки старался сохранить некоторое внешнее подобие приличного господина и особенно заботился о своем костюме, имея вид барина даже и тогда, когда в сумерки (днем «граф» никогда не «работал»)

останавливал кого-нибудь из прохожих и на превосходном французском диалекте просил «одолжить» некоторую монету. Он даже не просил, а скорее предлагал, причем сохранял свое достоинство, и когда слегка приподнимал свой рыжий цилиндр, зажимая в перчатке полученную монетку, и когда только галантно прикладывал руку к шляпе, получив отказ. За это его в «Лавре», где он жил последнее время, и прозвали «графом». Никто не знал его настоящей фамилии, и под кличкой «графа» он известен был своим товарищам по профессии.

Антошка сладко всхрапывал во сне, а «граф» еще писал, имея на столе запас почтовой бумаги и конвертов, которые являлись для него, так сказать, главным орудием производства.

Наконец последнее письмо было окончено. Эти прочувствованные, горячие строки к брату, в которых он просил денег для мальчика, должны были, по мнению «графа», подействовать даже и на такого «знатного прохво-

ста». Он, наверное, пришлет просимую сумму, и быть может, и больше. Вдруг письмо попадет в хорошую минуту, когда человек делается добрее обыкновенного!

Лампа догорала. «Граф» встал из-за стола с видом человека, вполне удовлетворенного своей работой, достал из-под кровати маленькую склянку с водкой и слегка трясущейся рукой налил рюмку водки. Он вытянул ее медленно, процеживая через губы, с наслаждением алкоголика. Затем выпил другую и третью, опорожнив бутылку, и только тогда разделся и лег в постель.

В эту ночь он заснул не с теми мрачными мыслями, с какими засыпал обыкновенно. Напротив, приятные и радостные думы проносились в его голове. Жизнь не казалась ему такой безотрадной благодаря присутствию Антошки.

VII

Мутный сероватый свет дождливого осеннего утра пробивался в окно, когда «граф» поднялся довольно бодрый и в хорошем расположении духа. За стеной, у хозяйки, пробило семь часов. Антошка еще спал.

При свете маленького огарка с иглой в руках «граф» занялся приведением в некоторую возможную исправность своего костюма. Дыры на черном лоснившемся сюртуке были зашиты, бахромки с конца штанин срезаны и все платье аккуратно вычищено. Затем «граф» почистил сапоги и достал из маленького сундучка чистые воротники и манжеты. Когда все было готово, он вышел в кухню, вымылся и довольно долго и тщательно расчесывал свои кудреватые волосы и длинную бороду перед маленьким зеркальцем и привел в порядок ногти на своих красивых руках.

Покончив с туалетом, он снова вышел и, встретив хозяйку, с обычной своей галантностью пожелал ей доброго утра.

— Что так рано сегодня, Александр Иванович?

– Дел сегодня много, Анисья Ивановна... Рано выйду со двора... Надо хлопотать за мальчика, понимаете?..

Он деликатно попросил насчет самоварчика и булки для Антошки, обещая сегодня же покончить маленькие счета с хозяйкой, и прибавил:

– И еще покорнейшая просьба, добрейшая Анисья Ивановна.

– Что такое?

– Быть может, я сегодня не скоро вернусь, так уж будьте любезны, не откажите накормить мальчика.

– Не бойтесь, голодным не оставлю. Позову обедать, не объест! – не без обидчивости проговорила добрая женщина, которая не раз предлагала и жильцу своему поесть вместе с ней.

Она жалела «графа», и главным образом потому, что он барин, отставной офицер и, верно, прежде богатый, находится в таком положении. Старый альбом «графа» с фотографиями генералов, блестящих дам и офицеров, в который она полюбопытствовала как-то заглянуть в отсутствие «графа», окончательно

разжалобил Анисью Ивановну и заставил ее отнестись к «графу» еще с большим участием. И она (хоть при найме комнаты это и не было выговорено) подавала ему самовар и вообще старалась оказывать услуги. Жилец он был тихий и очаровывал хозяйку своим любезным и полным достоинства обращением.

– А вы, Александр Иванович, насчет чего же, собственно, хотите хлопотать? Определить куда мальчика? – полюбопытствовала Анисья Ивановна.

– Вообще устроить... Ну, разумеется, прежде всего насчет денег... Надо же и одеть и обуть его...

– Что и говорить... Совсем, можно сказать, голый мальчик... Где же вы, Александр Иванович, полагаете достать?.. У сродственников?

– Да.

– Дадут? – недоверчиво спросила хозяйка.

– Рассчитываю. Я не для себя прошу.

– Ну, дай вам бог, Александр Иванович!.. Сами вот терпите, а за мальчика хлопочете... Да и насчет его документа схлопочите, а то старший дворник узнает... Как бы не было неприятностей.

«Граф» обещал похлопотать и насчет документа – он пойдет сегодня же к бывшему хозяину Антошки и, поблагодарив квартирную хозяйку, хотел было уходить, как вдруг она сказала, понижая голос:

– Ведь вы не при деньгах, кажется, Александр Иванович?

– Не при деньгах, Анисья Ивановна, но перед деньгами... А что? – шутливо спросил «граф».

– А то, что как же вы по делам будете ходить и по такой погоде... Ишь ведь дождь-то какой... Неравно и простудитесь... А вы бы в конке... И я с полным моим удовольствием... Сколько вам будет угодно?.. Сорок копеек, а то полтину?.. Как получите, отдадите...

У «графа» что-то защекотало в горле, и теплое благодарное чувство прилило к сердцу, когда он ответил:

– Ишь вы какая... заботливая, Анисья Ивановна... Сердечно благодарю вас и не откажусь... Возьму двугривенный... В самом деле... в конках удобнее...

Анисья Ивановна отдала деньги и предложила зонтик.

– Удобный зонтик, по крайней мере не промочит!

Но синий неуклюжий зонтик, видимо, шокировал «графа», и он отказался.

Вернувшись к себе, он застал уж Антошку вставшим и одетым в свое тряпье, с заспанным лицом, полным радости и счастья. Карие его глазенки весело улыбались.

– Доброго утра, Антошка! – приветствовал его «граф», протягивая ему руку. – Хорошо спал?

– Доброго утра, граф... А спал я чудесно, граф.

– Ну, что, здоров?

– Как есть вполне... И спина не болит... Хучь сейчас на работу...

– Ишь ты выносливый какой... Вчера у тебя жар был... Я думал – заболеешь, а ты как встрепанный... Что, здесь лучше, чем у дяденьки?

Вместо ответа Антошка засмеялся и вдруг, охваченный радостным благодарным порывом, по привычке нищенки прильнул к его руке.

– Не надо... Не люблю, – промолвил «граф»,

отдергивая руку. – Никогда этого не делай...
Слышишь?

– Вы не сердитесь, граф. Я больше не буду! – виновато промолвил Антошка.

– Я не сержусь, голубчик! – улыбнулся «граф» и с нежностью потрепал Антошку по плечу.

– Не прикажете ли чего сделать, граф? Сапоги ваши почистить? Комнату подмести?

– Прежде всего я прикажу тебе идти на кухню и хорошенько вымыться... Вот что я тебе прикажу... А вечером я тебя сведу в баню... Давно ты был в бане?

– Давно... И не упомяну когда... «Дяденька» не посылал...

– Вот сегодня я поговорю с твоим дяденькой...

– Зачем? – испуганно спросил Антошка.

– Возьму твой документ.

– Какой документ?

– Такой... У каждого человека есть документ, чтобы знали, кто он такой... А ты не бойся... Теперь твой дяденька ничего не смеет тебе сделать...

– А как он придет сюда?

– Не придет... Я его так припугну, что он и не подумает прийти...

– Если бы и Нютку взять... Она ловкая девчонка...

– О Нютке, братец, потом подумаем...

Через четверть часа оба приятеля сидели за самоваром. «Граф» на постеле, а Антошка напротив, на стуле. Анисья Ивановна деликатно подала не одну булку, а еще и большую краюху ситного хлеба... «Граф» выпил лениво стакан чая, покуривая скверную папироску, зато Антошка выпил целых три стакана, упиывая за обе щеки хлеб.

– Сыт?

– Сыт совсем... Покорно благодарю...

Антошке хотелось быть чем-нибудь полезным «графу», как-нибудь ему услужить, и он, увидав на столе письма, проговорил.

– Прикажете снести, граф?

– В таком костюме? – засмеялся «граф».

– Что ж костюм? Я привык... Я бы сбегал, граф. Только дозвоьте.

– Вижу, что сбегал бы... Лаской из тебя хоть веревки вей!.. – вставил «граф» не совсем понятное для Антошки выражение. – А ты уж се-

годня никуда не бегай, посиди дома... Видишь, какая погода... Я сам письма разнесу и вообще пойду по разным делам... К вечеру я вернусь... Обедать ты будешь с хозяйкой, с Анисьей Ивановной... Она, брат, добрая, хорошая женщина, Анисья Ивановна... Без меня ты можешь прибрать нашу комнату и помочь хозяйке, если что нужно...

«Граф» стал одеваться и, окончив одевание, имел довольно внушительный вид.

– Ну что, Антошка, как ты находишь мой костюм... Хорош?

– Чего лучше! – отвечал восхищенный Антошка.

– Ну и отлично! – засмеялся «граф». – Кстати, ты не забыл адреса той барыни, которая звала тебя за платьем?.. Я, быть может, и ее навешу...

– Он у меня записан, – отвечал Антошка, доставая из кармана штанов свою записную книжку...

– Ну-ка, давай ее сюда... Я посмотрю, как ты выучился писать... Гм... Недурно... весьма недурно... «Скварцова... Сергифская, пятнадцать»... Со временем можно будет и лучше...

И выучимся... И писать, брат, выучимся, и арифметике, и истории... всему, Антошка, в школе выучимся! – значительно проговорил «граф», заставляя Антошку вытаращить от изумления глаза.

Он, признаться, подумал, что «граф» так себе... «хвастает», но из деликатности не заявил сомнения насчет возможности исполнить такое обещание. «Граф» сам нищенствовал – и вдруг... школа...

«Подико-сь все это денег стоит!» – подумал Антошка.

– Ну, брат... об этом после поговорим... вечером... а пока до свидания!

И «граф», надев чуть-чуть набекрень свой цилиндр, с важным и решительным видом вышел из комнаты, натягивая перчатки.

VIII

«Граф» имел обыкновение рано утром выпивать рюмки две водки. Хотя доктора и находили, что это вредно, но «граф», напротив, полагал, что это очень полезно. Некоторый прием алкоголя возбуждал его нервы, и он чувствовал себя бодрее и оживленнее.

Так как дома запаса водки не было, то первый визит «графа» был в заведение поблизости, где он имел кредит.

– С добрым утром. Александр Иванович! – любезно приветствовал его заспанный пухлый сиделец.

«Граф» кивнул головой и проговорил:

– Стаканчик!

Проглотив стаканчик, он с тем же небрежным видом, с каким, бывало, держал себя у Бореля или у Дюссо, кинул. «За мной!» – и, дотронувшись до полей цилиндра, вышел на улицу.

Дождь лил немилосердно, и потому «граф» торопливо дошел до Офицерской и сел в маленькую одноконную каретку-омнибус, которая повезла его по Казанской улице до Нев-

ского. Оттуда он направился в Большую Морскую и вошел в подъезд большого дома, где жил его брат, тайный советник Константин Иванович Опольев.

Толстый, раскормленный швейцар с отлично расчесанными холеными бакенбардами, которым мог бы позавидовать любой директор департамента, с нескрываемым презрением оглядел «графа» с ног и до головы и хотел было спровадить на улицу, как попрошайку, который не понимает, куда лезет, как был решительно поражен и озадачен высоким тоном, каким этот намокший господин в рыжем цилиндре произнес:

– Эй... ты, швейцар!.. Передай это письмо Константину Ивановичу... Да, смотри, немедленно...

Швейцар нехотя, с брезгливой миной протянул руку за письмом и, с умышленным упорством оглядывая костюм «графа», проговорил не без презрительной нотки в голосе:

– Если генерал спросит, кто передал письмо, как сказать?

– Скажи, что... что... дальний родственник. И не спеша, с достоинством испанского

гранда вышел из подъезда, оставив швейцара в изумлении, что у его превосходительства могут быть родственники, одетые, как нищие.

Дальнейшие посещения «графом» разных швейцарских, где его знали по прежним визитам, нельзя было назвать особенно удачными.

В двух домах ему сообщили, что господа почивают; в двух – передали, что на письма никакого ответа не будет; в трех ему выслали с лакеями по рублю, а от кузины-княгини был деликатно передан конвертик. Он содержал в себе зелененькую кредитку и маленький листок почтовой бумажки, на котором были написаны карандашом следующие слова:

«Желательно повидать мальчика».

– Не верит! – прошептал «граф», запрятав трехрублевую бумажку и записочку в жилетный карман.

«Что ж, когда Антошку приведем в приличный вид, можно его и послать к княгине Марье Николаевне... Пусть познакомится. Быть может, что-нибудь и сделает!» – весело думал «граф», собираясь теперь сделать визит

к «дяденьке».

Был четвертый час. «Граф» порядочно-таки устал после своих посещений нескольких домов в разных частях города и проголодался. Но он решил прежде закончить свою программу действий на сегодняшний день и потом уже пообедать.

Дождь перестал. «Граф» на Михайловской поднялся на империал конки и поехал на Пески.

Иван Захарович и его супруга были дома и оба находились в дурном расположении духа. «Дяденька» курил молча, без обычного благодушия, был совершенно трезв и не выказывал обычной нежности своей Машеньке. Он даже сегодня не ходил в трактир, чтобы почитать газету и побеседовать о политике и о разных отвлеченных предметах с приказчиком. В свою очередь и Машенька была угрюма и зла и, грязная и нечесаная, с подвязанной щекой от ожога, сидела за пологом и взглядывала по временам в окно на двор.

Бегство Антошки беспокоило обоих по

весьма уважительным причинам.

Во-первых, Антошка представлял собой и весьма доходную статью их бюджета и потеря такого «племянника» затрогивала довольно чувствительно их материальные интересы. Во-вторых – и это, пожалуй, волновало супругов не менее, – у обоих мелькали неприятные мысли, как бы из-за этого «неблагодарного подлеца», забывшего все оказанные ему благодеяния (на это особенно напирал Иван Захарович, ценивший, как известно, высокие чувства), не вышло каких-нибудь серьезных неприятностей с полицией и даже с сыскным отделением, близкое знакомство с которым не очень-то улыбалось Ивану Захаровичу, имевшему уже случай в своей жизни раза два побывать там.

Этот «разбойник» недаром грозился, что найдет управу, и чего доброго заведет какую-нибудь клязузу...

– Дда... неблагодарный и подлый, можно сказать, ныне народ! – наконец проговорил Иван Захарович.

Реплики со стороны жены не последовало, и Иван Захарович снова задумчиво курил па-

пироску.

Оба супруга не прочь бы явить Антошке снисхождение и избить его не особенно сильно, несмотря на укушенную ногу и ошпаренное лицо, если бы только он явился с повинной. Иван Захарович даже несколько сердился на жену за то, что она вчера его «настроила» против Антошки, и размышлял теперь о том, что благоразумие требует не очень-то сильно валять ремнем и что следует при «выучках» остерегаться пускать в ход пряжку во избежание знаков на теле, весьма заметных при медицинском осмотре.

Вообще Иван Захарович, несмотря на сознание необходимости грозной власти в своем заведении, обнаруживал, как большая часть жестоких людей, трусливую подлость в этот день.

Оба супруга с утра поджидали Антошку и часто поглядывали в окно. Отпуская утром своих «пансионеров» на работу, Иван Захарович был со всеми необычно ласков и многих снабдил одеждой и обувью, более соответствующими осенней погоде. Вместе с тем он поручил своим питомцам, в случае если кто

из них встретит Антошку, передать ему, что «дяденька» нисколько на него не сердится и охотно простит его, если он вернется домой.

И, как опытный правитель в духе Макиавелли [4], понимающий, что дурные примеры, подобные Антошкину бегству, заразительны и что после нежных слов не мешает и угроза, прибавил, обращаясь к своим маленьким покорным подданным:

– Я жалею его говорю. А то хуже будет, когда городской его приволокет за широрот. А приволокет бесприменно, потому как Антошка и все вы в полном моем распоряжении и обязаны по закону мне повиноваться... Ну, а тогда не пеняй... Не прошу! – не без энергии закончил Иван Захарович свою правительственную речь.

По случаю дурной погоды «дяденька» милостиво разрешил своим воспитанникам вернуться пораньше. К трем часам все почти вернулись.

Никто Антошки не встречал.

– Этакый подлец! – сердито проворчал Иван Захарович.

В эту минуту в прихожей звякнул звонок.

Иван Захарович сам пошел отворять, по дороге плотно затворив двери комнаты, в которой помещались его питомцы.

Увидав незнакомого человека, костюм которого не внушал большого уважения и в то же время успокоивающим образом подействовал на Ивана Захаровича, он все-таки по привычке с пытливой подозрительностью взглянул на вошедшего, словно желая определить его житейское положение, и довольно холодно осведомился, что ему угодно.

– Мне угодно переговорить с вами по одному делу, – сухо и резко проговорил «граф», как будто не замечая протянутой ему руки.

Душа Ивана Захаровича ушла в пятки.

«Уж не агент ли сыскной полиции!» – пробежало в его голове.

И он, несколько смущенный, понижая голос до конфиденциального шепота, уже самым любезным, заискивающим тоном просил «графа» пожаловать в комнату.

– Машенька! Выдь на минутку! – значительно проговорил он, обращаясь к жене, и, когда та прошмыгнула мимо гостя в двери, предложил ему присесть и снова бросил на

него пристальный взгляд.

Тут, в комнате, при свете лампы, он лучше осмотрел и костюм графа и его испитое лицо, и ему показалось, что он где-то видел этого господина...

«Граф» между тем не предъявлял своего агентского билета, и Иван Захарович все более и более сомневался, что перед ним агент. Он, слава богу, видывал их! И, словно досадуя на свой напрасный страх, он сел на стул против «графа» и не без некоторой фамиллярности сказал:

– Так по какому такому делу пожаловали, господин?.. Извините, не имею удовольствия знать, кто вы такой... А я с незнакомыми никаких делов не веду... Да и, прямо ежели сказать, никакими делами не занимаюсь.

– Я пришел получить у вас метрическое свидетельство Антошки...

– Что-с?..

– Слышали, кажется...

– Какого такого Антошки, позвольте узнать-с? – нахально спросил Иван Захарович, стараясь скрыть вновь овладевшее им беспокойство.

– А того Антошки, который ходил от вас с ларьком и которого вы вчера истязали ремнем и чуть не задушили... Нога ваша, вероятно, уже зажила? – насмешливо прибавил «граф».

– Позвольте, однако, спросить, кто вы такой будете и по каким таким правам требуете документ моего родного племянника?

– Не лгите. Он вам не племянник... Я знаю! – уверенно произнес «граф».

Иван Захарович смутился.

– Все равно вместо родного. Я его воспитал. А вы, что ли, сродственник ему? – насмешливо кинул он.

– Нет, я мальчика давно знаю и принимаю в нем участие... В нем принимают участие и другие лица, и Антошка теперь находится у моей двоюродной сестры, княгини Моравской, – пугнул «граф», заметив, с каким трудом имеет дело.

Иван Захарович недоверчиво взглянул на «графа». Костюм его не свидетельствовал о родстве с князьями, но в то же время в манере этого господина было что-то барское и внушительное. Это Иван Захарович сообразил.

– А вы чем изволите быть?..

– Я... штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского его величества полка в отставке, Опольев. Можете, если хотите, удостовериться... Вот мой указ об отставке.

– Что мне удостоверяться?.. Только я документа не отдам. Нашли, с позволения сказать, дурака? По какой такой причине я отдам вам документ?.. Довольно даже странно, что вы, господин, вмешиваетесь в чужие дела... Я тоже права имею.

– Как знаете! – промолвил, вставая, «граф», – но только помните, что завтра же утром я подам заявление градоначальнику! – прибавил «граф» и направился к двери.

Эта угроза произвела на Ивана Захаровича впечатление, и он сказал:

– Позвольте, сударь... Зачем же градоначальнику?.. Если мне уплатят за содержание этого подлеца – как перед богом говорю, что Антошка неблагодарная тварь, – я готов развязаться с ним... Ну его... а то, согласитесь, за что же разорять бедного человека...

– Мне некогда с вами разговаривать. Документ, или завтра же вы будете в сыскном от-

делении... И вообще я советовал бы вам переменить род занятий! – внушительно прибавил «граф»...

– Какие такие занятия, позвольте спросить?

– А заведение чужих детей, которых вы посылаете нищенствовать...

– Всякому надо кормиться... И дети у меня, слава богу, ничем не обижены... всем довольны...

– И тем, что вы их порете?.. Ну, довольно... Отдаете документ или нет?

Через пять минут «граф» вышел, получив под расписку метрическое свидетельство Антошки.

Струсивший и растерявшийся Иван Захарович, провожая «графа», униженно просил не поднимать истории и обещал серьезно подумать о перемене занятий.

– Действительно, беспокойное занятие, сударь... Того и гляди из-за какого-нибудь неблагодарного мальчишки получишь одни неприятности! – говорил Иван Захарович.

«Граф» возвращался в конке с Песков очень довольный, что дело с этим «мерзав-

цем» было покончено так скоро и легко. Он не ожидал, что «дяденька» окажется таким трусом и отдаст документ первому встречному, который пугнет его. Теперь можно и победать. Но прежде «граф» решил, несмотря на голод, свершить маленькую вечернюю экскурсию в одну из людных улиц и, глядя по успеху, позволить себе более или менее роскошное меню обеда.

Деньги, бывшие у «графа» в кармане, он считал Антошкиными и взять из них на обед считал возможным только в случае крайней необходимости.

Доехав до Михайловской, он пошел по левой стороне Невского и сделал несколько предложений одолжить ему какую-нибудь монетку. Несмотря на то, что предложения эти делались и по-русски, и по-французски, и по-немецки, ни одна душа не одолжила «графа», и он повернул в Большую Морскую.

У ресторана Кюба он заметил господина в путевой форме, выходявшего с какой-то дамой из подъезда ресторана со стороны Кирпичного переуллка, и быстро очутился возле инженера. При свете фонаря он разглядел ве-

селое, жизнерадостное молодое еще лицо с седоватыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Инженер оживленно и громко что-то говорил даме под густой вуалью.

– Господин инженер, – проговорил почти на ухо «граф» своим сипловатым баском, – не откажите после устриц одолжить монетку на скромный обед... Премного обяжете...

Инженер, действительно только что евший с своей дамой устрицы, как-то торопливо полез в жилетный карман, взглядывая несколько сконфуженными, ласковыми и наблюдательными глазами на странного господина, и, смеясь, спросил:

– А вы разве не одобряете устриц и тех людей, которые их едят?

– Устрицы весьма одобряю, особенно с хорошим шабли или с максотеном сес, заедаая стильтоном или рокфором... [5] Благодарю вас! – прибавил «граф», получая, к крайнему изумлению, не монетку, а бумажку и слегка приподнимая шляпу.

– Не за что... Эй, Иван... подавай! – крикнул инженер лихачу извозчику.

– Виноват... – вдруг заговорил «граф», сно-

ва подходя к инженеру. – Вы, разумеется, ошиблись.

– В чем?

– Это не канарейка, а синенькая... [6] Возьмите назад, чтоб после не раскаиваться! – иронически вымолвил «граф», протягивая инженеру бумажку.

– Я не ошибся... Я и хотел одолжить вам именно пять рублей! – необыкновенно мягко и ласково отвечал инженер, не без удивления поглядывая на этого странного субъекта.

– Не ошиблись? В таком случае я кладу деньги в карман и позволю себе заметить, что вы представляете собою редкий пример легкомыслия и расточительности по нынешним временам... Первый раз в течение моей практики я делаю такой громадный заем на улице... Удивительно!.. Всего хорошего... Всех успехов...

– Вы, однако, большой оригинал! – заметил инженер, заинтересованный «графом».

– Ника, едем! – торопила дама.

– До свидания! – крикнул инженер...

– Мое почтение!

«Граф» приподнял шляпу и несколько

мгновений смотрел вслед удаляющемуся экипажу удивленными глазами.

– Верно, очень счастлив сегодня! – прошептал он, трогаясь с места.

Ввиду такого неожиданного благополучия «граф» считал вправе позволить себе редкую роскошь – пообедать как следует, в трактире, а не в закусочной, и даже выпить полбутылки крымского бордо. Давно уж он не пил вина!

И он направился в один из маленьких ресторанов на Гороховой, предвкушая удовольствие полакомиться вкусными блюдами и глотая слюнки при мысли о нескольких рюмках водки перед аппетитной закуской. Куда ни шло, он кутнет рубля на полтора.

Спасибо легкомысленному инженеру!

IX

Его превосходительство Константин Иванович Опольев уже сидел за письменным столом в своем большом внушительном кабинете, убранном в строго солидном стиле, гладко выбритый, свежий и хорошо сохранившийся, несмотря на свои пятьдесят два года и многочисленные занятия, в щегольски сшитом утреннем костюме, и прилежно занимался, обложенный делами в синих папках, с большим красным карандашом в красивой холеной руке с большими крепкими ногтями, — когда в дверях кабинета показался в это утро его камердинер Егор с письмом на маленьком серебряном подносе в руках.

Неслышно ступая в своих мягких башмаках, Егор приблизился к столу и положил на край его письмо «графа».

Опольев поднял лицо, красивое, смуглое, серьезное лицо, окаймленное такими же вьющимися и заседевшими черными волосами, как у младшего брата, с большими темными глазами, над которыми красивыми дугами темнели густые брови, сходявшиеся у переносицы.

сицы.

– Письмо вашему превосходительству!

– Хорошо! – промолвил Опольев низковатым приятным голосом и, взяв в руки письмо, не спеша и аккуратно взрезал конверт ножом слоновой кости.

Брезгливая улыбка слегка искривила его губы, когда он читал письмо брата. Он отложил письмо, пожал плечами и снова принялся за работу.

Однако минутой спустя его превосходительство подавил пуговку электрического звонка и, когда явился Егор, спросил:

– Кто принес это письмо?

– Не могу знать. Швейцар подал.

– Узнайте.

Егор скоро вернулся и доложил, что письмо подал какой-то очень скверно одетый господин и...

Камердинер, видимо, затруднялся продолжать.

– И что же?..

– Он назвался...

– Ну, говорите же, кем он назвался? – нетерпеливо допрашивал Опольев.

– Дальним родственником вашего превосходительства, – словно бы извиняясь, что обязан передать такое неправдоподобное известие, проговорил Егор и даже позволил себе улыбнуться.

«По крайней мере имел стыд не назваться братом!» – облегченно подумал его превосходительство.

И сказал:

– Позовите сюда швейцара.

Когда швейцар явился, Опольев тихим, ровным и спокойным тоном, каким всегда говорил с прислугой, произнес:

– Если господин, который принес утром письмо, придет еще когда-нибудь, не принимайте от него писем и никогда не пускайте его. Поняли?

– Понял, ваше превосходительство.

– Можете идти.

Швейцар повернулся почти по-военному и исчез.

Его превосходительство вновь принялся за работу.

Часа через полтора он поднялся с кресла, слегка перегнулся, расправил свою уставшую

спину и, взяв со стола письмо, легкой, молодцеватой походкой, чуть-чуть перекачиваясь, прошел через ряд комнат в столовую.

Там за чайным столом сидела жена Опольева, полноватая, довольно красивая еще блондинка, в кольцах на пухлых белых руках, с пышным бюстом и туго перетянутой тальей, и молоденькая девушка в черном шерстяном платье, свежая худенькая брюнетка с одним из тех лиц, которые не столько красивы, сколько привлекательны. Особенно привлекательны были эти большие темно-серые глаза, опущенные длинными ресницами, ясные, детски-доверчивые и в то же время будто пугливые.

– Здравствуй, Anette! Здравствуй, Ниночка! – приветствовал своих Опольев.

И его серьезное, строгое лицо прояснилось ласковой улыбкой, и ровный, несколько монотонный голос его зазвучал мягкими звуками.

Он поцеловал благоухающую руку жены, горячо поцеловал дочь и присел к столу.

– Ну что, хороша была вчера опера? Тебе понравилась, Нина?

– Очень, папа.

– Музыка или певцы?

– Музыка...

– И я вчера хотел попасть в театр, да заседание комиссии затянулось... На вот, прочитай-ка это письмо, Anette, – вдруг, хмурясь, проговорил Опольев, передавая письмо жене...

– А все-таки жаль! – слегка певучим голосом протянула жена, окончив чтение письма.

– А мне нисколько не жаль! – резко и докторально ответил Опольев, видимо недовольный мнением жены. – Совсем не жаль! Человек, который дошел до положения скота, нисколько не заслуживает моего сожаления, хотя бы он был и близкий мой родственник. Нисколько! И я не понимаю этих уз крови, совсем не понимаю и не чувствую их. Коль скоро человек опозорил и себя и всю семью так, как вот этот господин (его превосходительство указал пальцем на письмо, лежавшее около Анны Павловны), то нечего и рассчитывать на какие-то узы... Мне не денег жаль... какие-нибудь двадцать рублей не беда бросить... но принцип... понимаешь ли, прин-

цип...

– Но, послушай... ведь он обращается к тебе в первый раз после того, как ты – помнишь – так круто отнесся к нему... И, наконец, ведь он не для себя, а для какого-то мальчика...

– Ты веришь... этому мальчику? – засмеялся тихим жестким смехом Опольев. – Ну, милая, ты довольно легковерна... Ему на пьянство надо, вот для чего... Помилуй, человек неглупый, который после своего падения мог бы как-нибудь устроиться... жить честным трудом... работать, как все мы работаем, дошел до того, что по вечерам останавливает прохожих и просит подаяния...

– Неужели это правда?.. Мне говорила Marie, но я не поверила...

– К сожалению, правда... И ты хочешь, чтоб я таким помогал?.. Да я готов помочь всякому чужому, но сколько-нибудь порядочному человеку, но только не этому пропойце... Никогда! Дай ему раз, он повадится... Эти люди наглы и лживы... Покойный батюшка недаром его проклял – а отец был твердых правил человек! И я не хочу его знать... Черт с

ним... Пусть пропадает... Такие люди не нужны обществу...

– Он сам приходил? – спросила жена, восхищенная убедительными, красноречивыми словами мужа и его умом.

– Вообрази... имел наглость прийти сам... Еще слава богу пощадил... назвался только дальним родственником... Я приказал швейцару никогда больше его не пускать и не принимать никаких писем! – заключил Опольев...

Молодая девушка, слышавшая что-то смутно о «погибшем дяде», внимала жестоким словам любимого отца с каким-то невольным чувством сомнения и, вся притихшая, как-то пугливо взглядывала на него.

– Ну, однако, мне пора в министерство... До свидания, милые! – промолвил Опольев и, сделав прощальный жест, вышел...

– Мама! Позволь мне прочитать это письмо... Можно?

Мать передала молодой девушке письмо. Та прочитала его и сказала:

– Мама! Папа ошибается... Так не пишут обманщики. Дядя наверное просит не для се-

бя, а для мальчика... Грешно не помочь! – прибавила девушка, и лицо ее подернулось тихой грустью.

– Ты слышала, что папа говорил?

– Слышала... А все-таки папа не прав...

Необходимо помочь! – решительно произнесла девушка. – И дяде и мальчику...

– Отец всегда прав! – строго проговорила мать.

Наступило молчание.

Х

Только благодаря сознанию важности принятых на себя обязанностей «граф» в этот вечер обнаружил воистину героическую силу характера, ограничившись всего пятью рюмками водки и полубутылкой красного вина.

Давно уж он не ел такого вкусного обеда, напомнившего ему лакомые блюда былых времен, давно уж не позволял себе такой роскоши, как вино. И он ел с аппетитом проголодавшегося человека, соблюдая, однако, вид джентльмена, имеющего обыкновение обедать более или менее хорошо каждый день.

«Граф» несколько оживился, покончив

обед. Глаза его слегка блестели пьяным блеском. Он чувствовал потребность завершить обед маленькой чашкой кофе и, разумеется, с рюмкой коньяку.

Одну только рюмочку... всего одну!

Но в тот самый момент, когда «граф» величественным жестом руки подозвал лакея, чтобы отдать соответствующее приказание, в голове его, весьма кстати, пронеслась мысль об Антошке, и вслед за тем он вспомнил, что коньяк, особенно недурной, может увлечь его далеко за пределы благоразумия и бюджета и значительно отдалить время возвращения домой... За одной рюмкой любимого им напитка может последовать другая, третья, четвертая, и тогда... что будет тогда с Антошкиными деньгами и где он сам проведет ночь?

– Что прикажете? – довольно небрежно осведомился лакей, точно сконфуженный, что ему пришлось служить такому подозрительному господину.

Душевная борьба, видимо, еще не кончилась, потому что «граф» не сразу отвечал, что ему угодно.

Еще секунда, другая, и он решительно

спросил:

– Что с меня следует?

– Рубль шестьдесят пять копеек.

– Сдачи не надо! – небрежно кинул «граф», подавая два рубля; и торопливо вышел из ресторана, словно бы боялся, что решение его может внезапно измениться.

Вернулся он домой чуть-чуть захмелевший, но совершенно твердый на ногах. Он был возбужденно весел и доволен собой, как человек, избежавший серьезной опасности.

– Ну вот и я, Антошка! Здравствуй, брат! – весело проговорил «граф», входя в комнату и выкладывая на стол несколько свертков, многочисленность которых несколько удивила обрадованного появлением «графа» Антошку.

– Зазябли, граф?..

– Нисколько... ничуть... Чувствую, брат, себя превосходно... Теперь мы с тобой обеспечены на неделю чаем и сахаром! – сказал «граф», похлопывая рукой по двум сверткам. – Четверть фунта чая и пять фунтов сахара!.. А вот тут кое-что и для тебя есть, Антошка! – ласково подмигнул «граф». – Останешься доволен.

Он снял шляпу, снял пальто, бережно повесил на гвоздь и потрепал Антошку по щеке.

– Верно, сегодня хорошо работали с письмами, граф? – спросил Антошка с участием.

– Недурно работал, как ты выражаешься, – засмеялся «граф». – И с письмами, и так... благодаря ораторскому искусству... А ты, пожалуйста, правильнее смотришь на вещи, называя это работой. Собственно говоря, такое занятие – очень неприятная и тяжелая работа, хотя люди и называют нас нищими бездельниками! Пусть-ка его превосходительство, мой братец, попробует такой работы... Ха-ха-ха!.. Да, сегодня я недурно работал, Антошка... Однако не так хорошо, как надеялся...

– Не на все письма был ответ?

– Ты сообразительный мальчик. Именно не на все... Но все-таки для начала твоей экипировки кое-что получено... Можно тебе и несколько белья сделать, и сапоги купить, и даже приобрести у татарина какую-нибудь принадлежность костюма. Например, жакетку или панталоны, что ли... Сразу, брат, полное благополучие не достигается... Нет! Но ты этим не смущайся... Я тебе весь костюм сде-

лаю и полушубок куплю! Непременно и в скором времени! – уверенно повторил «граф», ласково глядя на Антошку. – А пока вот попробуй-ка эту штучку, – прибавил «граф», вынимая из одного из пакетов красную пастилку.

Антошка решительно был подавлен такою заботой об его костюме и таким вниманием. Эта заботливость трогала и смущала его тем более, что пальто самого «графа», по мнению Антошки, не должно было в достаточной степени защищать от холода.

Он быстро проглотил вкусную «штучку» и молчал, не находя слов для изъявления благодарности, и в то же время недоумевал, как это «граф» может так хорошо «работать», чтобы с такою уверенностью говорить о полушубке, и почему он до сих пор не позаботился о собственном пальто. Это, казалось ему, было непростительной ошибкой с его стороны.

– Мне вовсе не надо полушубка. Зачем мне полушубок, ежели вы не будете посылать меня на работу? – вымолвил, наконец, Антошка. – Мне никакого даже костюма не надо... Здесь тепло... Вот вам, граф, ежели, например,

к пальту да теплый воротник...

– Обо мне не беспокойся, добрый мой мальчик, – возразил «граф», тронутый такою деликатностью Антошки. – Я знаю секрет, как согреться, если очень холодно...

– И я знаю, граф.

– Ты? Какой же твой секрет?

– Я пробовал. Бывало, заколешь от холода, выпьешь шкалик, и будто теплее...

– Никогда больше не пробуй, Антошка! – строго и торжественно сказал «граф» и прибавил: – Ах, бедный, бедный! Такой маленький и уж согревался водкой!

– Никак нельзя было по нашей работе иной раз не выпить, – оправдывался Антошка. – И меньше меня мальчики пили...

– Теперь у тебя такой работы не будет... слышишь? И ты дай мне слово, что никогда больше не прикоснешься к водке, чтоб не огорчить меня... Дашь?

– Убей меня бог, если я прикоснусь! – горячо воскликнул Антошка и перекрестился. – Да я и не люблю ее. Только горло дерет...

– То-то... Нечего и любить, подлую! – как-то грустно и значительно протянул «граф».

Он стал раздеваться и, облачившись в халат, присел к столу и спросил:

– Ну рассказывай, Антошка, что ты без меня делал? Скучно было?

Антошка не без некоторой гордости объявил, что он не сидел сложа руки. Утром прибрал комнату, вытопил печь, потом помогал кое в чем Анисье Ивановне и вот теперь занялся книжкой.

– Ай да молодчина, Антошка! Хвалю, что не сидел в праздности. Праздность – мать всех пороков... Не слыхал об этом?.. Ну, а теперь скажи: есть хочешь?

– Нет, я сыт. Только что ужинал. Анисья Ивановна дала мне горячих щей и мяса... Претличные!

– А я тебе ветчины принес... Ну все равно, завтра поешь... И документ твой принес...

– Получили? – воскликнул Антошка.

– Получил.

– И видели их?

– И видел. Ведьма-то твоя с подвязанной щекой ходит, – ловко ты, брат, ее ошпарил! – а дяденька прихрамывает! – присочинил «граф», желая доставить Антошке удоволь-

ствие. – Бумага твоя здесь, у меня. Припугнул я этого мерзавца... Теперь ты, Антошка, вольный российский гражданин... Дяденьки не бойся... Он ничего не смеет тебе сделать... Тю-тю твой дяденька! И вовсе он тебе не дяденька и никогда им не был... То-то... Ну, а теперь будем чай пить и беседовать... А чай будем пить с вареньем... Любишь варенье?.. И калачи есть... Ставь-ка скорей самовар... Умеешь?

– Еще бы не уметь! – весело отвечал Антошка.

– Да попроси ко мне Анисю Ивановну...

Бесконечно обрадованный, что ненавистный «дяденька» теперь не смеет взять его к себе, Антошка со всех ног полетел на кухню и, передав Анисье Ивановне приглашение «графа», принялся ставить самовар с каким-то ожесточением усердия.

Ах, как было радостно и светло теперь на душе у Антошки, и как казалось ему лучезарно будущее!.. А главное, как хотелось ему отблагодарить «графа», к которому он чувствовал такую горячую любовь, что готов был для «графа» на все...

«Хотя бы еще такую порку выдержать, как

третьего дня!» – мысленно решил Антошка, придумывая, как бы он мог доказать свою преданность...

И пока он раздувал уголья, в голове его бродили, сменяясь одна другой, самые смелые мечты о том, как он потом купит «графу» шубу и наймет ему комнату побольше... Как он избавит его от работы, которая ему почему-то кажется тяжелой и неприятной, хотя казалось ему, что особенно неприятного нет – писать письма и получать в ответ деньги. И не особенно тяжело, если только тепло одеться, попросить на улице у хорошо одетых людей... Что им стоит дать пятак?.. По крайней мере, когда он работал в нищенках, он нисколько не стеснялся... но «граф» не хочет, чтобы Антошка так работал, и Антошка, конечно, не будет... «Граф» худу не научит. Только бы поскорей ему научиться читать и писать, а там он найдет место... Он поступит в приказчики в лавку. Чего лучше? А то сделается газетчиком... тоже недурно... Во всяком случае, он позаботится о добром «графе». И Анисья Ивановна пусть вместе живет... И Нютка тоже... То-то будет отлично!

И Антошка находился в таком альтруистическом настроении, что в своих ребячьих мечтах ни разу не вспомнил ни о «дяденьке», ни о «ведьме» и в данную минуту далек был от мысли засадить первого в острог, а вторую бросить под конку.

XI

«Граф» усадил Анисью Ивановну на стул и, предложив ей полакомиться пастилой, советовался с ней насчет того, что можно сделать для Антошки на семь рублей.

Анисья Ивановна приняла живое участие в этом деле и кстати похвалила мальчика. Сегодня он сам вызвался ей помогать и делал все со старанием. Она предложила свои услуги по части белья. На два рубля она купит холста и сошьет ему по паре рубаш, исподних и подверток.

– А за два рубля, Александр Иванович, можно купить в рынке сапоги, а на три – целый костюм для мальчика. Вот и обули и одели...

– Вы говорите: можно? Отлично! Только за глаза трудно покупать... Идти-то ему не в чем.

Но и это затруднение было улажено. Ани-

сья Ивановна обещала попросить у дворника пальтецо и сапоги его сынишки. Он одного роста с Антошкой.

«Граф» горячо благодарил хозяйку. Отдавая ей два рубля, он передал ей еще полтинник, чтоб покончить маленькие счета.

– Да вы не торопитесь, Александр Иванович. Мне пока деньги не нужны, а у вас большие расходы.

– Пожалуйста, – настоял «граф». – У меня есть в виду значительная получка, Анисья Ивановна. Непременно двадцать рублей должны прислать! – прибавил «граф». – Куда ж вы? Сейчас Антошка самовар принесет... Не уютно ли с нами чаю напиться?

Анисья Ивановна сперва отнекивалась, но кончила тем, что согласилась выпить «чашечку» и пошла за стаканами и чашкой.

Скоро на маленьком столе шумел самовар. Около стояли варенье, пастила и калачи. От ветчины все отказались.

Антошка угощался на славу и только удивлялся, что «граф» ничего не ест, а пьет пустой чай и попыхивает папироской. Анисья Ивановна молча, прикусывая вареньем, выпила

чашку и скоро поднялась, объяснив, что у нее дело...

– А мерку я завтра с тебя сниму, Антошка! – проговорила она, уходя.

– Вот, брат, дело и слажено... Завтра мы тебя обмундируем! – промолвил «граф». – А потом я тебя к одной княгине пошлю...

– К княгине? Зачем мне идти к княгине? С письмом, что ли?

– Нет, так. Она с тобой говорить будет...

– Настоящая княгиня?

– Настоящая...

– Зачем же ей со мной говорить?..

– Расспрашивать будет... Ты ей всю правду говори, как жил у дяденьки, как ко мне убежал...

– К чему ей это знать?..

– Она, быть может, денег даст или захочет определить тебя куда-нибудь...

– Я бы от вас никуда не хотел! – решительно заявил Антошка.

– Я и сам не отпущу тебя, если ты согласен со мною жить... Разве уж что-нибудь хорошее представится...

– Ничего не представится. А я месяца в два,

бог даст, выучусь писать и читать по-настоящему и тогда в газетчики поступлю. У меня есть один знакомый газетчик... Он схлопочет...

– В газетчики? – протянул «граф».

– Что ж, разве худое место? Небось жалованье дадут... А я у вас жить буду.

– Положим, и в газетчики недурно... Всякие новости знать будешь. Но можно и лучше сыскать место, если подольше поучиться. Например, этак, знаешь ли, машинистом, а?.. Ты прежде поучись основательно... А уж мы с тобой как-нибудь да прокормимся. Много ли нам нужно? А к княгине ты все-таки сходи... Кто знает, она, быть может, что-нибудь и сделает... Кстати увидишь, как живут князья... Любопытно...

– Небось очень богато... Мне сказывал один человек, будто они едят на серебряных и на золотых тарелках, а купаются в молоке... Это правда?

– Не совсем... Твой человек несколько преувеличил... Но все-таки живут богато...

– И лакеев страсть?

– Есть-таки.

Антошка примолк и минуту спустя спросил:

– И откуда только у них деньги, у этих самых князей да графов?

– Доходы получают с имений, с домов... А то и сами наживают.

– А эти имения и дома откуда?

– Гмм... Откуда?.. У одних перешли от родителей; другие купили на деньги, которые тоже от родителей достались... Ну, а третьи сами нажили... А как, лучше и не спрашивай...

Это объяснение не вполне, однако, удовлетворило любознательность Антошки. Откуда, в свою очередь, у родителей явились имения и дома, так и осталось для него невыясненным.

Но он не нашел удобным приставать к «графу» с дальнейшими расспросами о происхождении богатств и, переходя к другой занимавшей его мысли, спросил:

– А что, граф, настоящие князья и графы делают?

Ненастоящий «граф» весело рассмеялся.

– А ты как думаешь, Антошка? – переспросил он.

– Я думаю, что они ничего не делают. Да и что им делать?

– Ты не ошибся... Собственно говоря, они ничего не делают... Не все, впрочем... Некоторые служат... получают жалованье... выходят в генералы...

– Зачем, ежели они богаты...

– А так... Лестно... Шапка белая... на груди кресты и звезды... мундир расшитый... Видал?..

– Видал...

– Небось и ты хотел бы быть генералом?

– Очень бы даже хотел... Но только из простых генералов не бывает...

– Бывает... Ежели выучишься всему, что нужно, и ты можешь быть генералом... Конечно, это редко, но случается...

– Ну?..

– Я тебе верно говорю.

– А вы, граф, тоже прежде были богаты?

– Был, Антошка...

– То-то вас графом называют...

– Только я не граф...

– Из каких же вы будете?

– Из дворян, из старинных дворян, Антош-

ка!

– Это из господ, значит?..

– Именно, мои друг...

– Я так и полагал, что вы из важных...

– Это почему?

– Вид у вас такой графский... Сейчас приметно... Другой и видно богач, а виду нет... А вы богаты тоже были? – допрашивал Антошка.

– Да... было состояние...

– И много у вас денег было?.. Тысяч десять поди? – осведомлялся Антошка, имевший о богатстве довольно смутные представления.

– Тысяч триста считай! – усмехнулся «граф».

Антошка ахнул. В его воображении пронеслось что-то колоссальное.

«Я бы таких денег не спустил!» – подумал он и спросил:

– За такие деньги можно, например, дом купить?

– Да еще какой!

– Ишь ты! Куда же вы столько денег потратили?

– Так, зря потратил... на всякие глупости

и безобразия... Только и жил для того, чтоб себя потешить и другим показать: вот какой я дурак... Не понимал тогда, что это гнусно...

– Для форца, значит? – старался уяснить себе Антошка.

– То-то для форда, как ты выражаешься... И когда я ухнул свои триста тысяч, я еще задолжал на двести... Отец долги заплатил и отказался от меня... Проклял... Понял?

– Понял! – шепнул Антошка, невольно вздрагивая при представлении об ужасе проклятия.

– Ну, вот с тех пор я и сделался нищим...

Антошка участливо посматривал на «графа».

– А разве тогда никто вам не помог? – спросил он.

– Никто... Да и к чему помогать такому мотыге? Решительно не к чему!

– А я на месте отца помог бы! – решительно заявил Антошка.

«Граф» усмехнулся.

– Капиталу большого не дал бы, а отпускал бы на прожиток... А то вдруг так-таки и бросить человека. Пропадай, мол!

«Граф» любовно взглянул на своего сожителя и словно бы про себя заметил:

– Оно, пожалуй, и лучше вышло, что тогда меня все бросили... А то я так бы свиньей и остался!

Этой «философии» Антошка, видимо, не понял и удивленно приподнял брови. По его мнению, получать барину на прожиток от сродственников ничего общего не имело со свинством. На то он и барин, чтобы ничего не делать... Видал он, слава богу, господ... Катаются себе да гуляют. Пречудесно!

Однако он не сообщил этих соображений «графу» и с большим любопытством и некоторым соболезнаванием спросил после минуты молчания:

– А если б того не случилось... вы могли бы выйти в генералы?

– Наверное. Все мои товарищи генералы... Я прежде офицером был.

– Офицером? – протянул удивленно Антошка.

– Хочешь посмотреть, какой я был?

«Граф» достал из своего сундука старенький альбом и, передавая его Антошке, прого-

ворил:

– Вот узнай-ка, где я?

Антошка стал рассматривать альбом, в котором было много офицеров, генералов в крестах и со звездами и красивых дам, несколько огорошенный таким обилием важных особ.

– Это все ваши сродственники, граф?

– Тут не одни родственники; есть и бывшие товарищи и знакомые...

– И князья и графы есть?

– Однако ты, Антошка, как посмотрю, имеешь к ним большое пристрастие... Уж не думаешь ли и ты графом быть со временем? – рассмеялся «граф». – Ну, а меня не узнал?

– Нет! – отвечал несколько сконфуженный Антошка.

– Вот, полюбуйся!

И «граф» указал на фотографию молодого красавца брюнета, в полной парадной форме уланского офицера, веселого, жизнерадостного, с смелым, слегка надменным выражением в больших глазах. И поза на фотографии была вызывающая, самоуверенная...

– Это – вы? – воскликнул полный восхищенного изумления Антошка, и его быстрые

карие глаза перебежали с портрета на оригинал, желая уловить сходство.

– Я... Собственной своей персоной...

– Теперь и не признать!

– Ну еще бы! – грустно протянул «граф».

И по его преждевременно состарившемуся, испитому, землистому лицу, нисколько не напоминавшему красавца на портрете, пробежала тень...

– Укатали, брат, сивку крутые горки! – промолвил «граф».

Оба примолкли.

– Однако ложись спать, Антошка... Завтра пораньше пойдем в рынок покупать тебе обмундировку... Ложись... О князьях и графах еще успеем поговорить... Только знаешь ли что?.. Не особенно завидуй им... Право, не стоит...

Скоро они улеглись спать.

Антошка хоть и полон был новыми впечатлениями и мыслями, но тем не менее довольно скоро сладко захрапел.

В этот вечер, перед отходом ко сну, «граф» почему-то вдруг вспомнил о советах доктора и не выпил обычных нескольких рюмок вод-

ки, хотя бутылка и была им принесена в числе других закусок и спрятана в сундук, чтоб Антошка ее не видал. И – что еще было странней! – ему, еще несколько дней тому назад совсем равнодушному к смерти, теперь, напротив, очень хотелось жить.

Долго ворочался «граф» на своем жестком блинчатом тюфяке, долго кашлял скверным, сухим кашлем, чувствуя, как ноет грудь, и долго думал об Антошкиной судьбе и об его полушубке.

«Неужели „знатный братец“ до конца будет последователен и оставит просьбу без ответа? Неужели жалость недоступна его сердцу?»

И в голове «графа» забродили воспоминания о «братце».

Никогда они не были близки и дружны. Этот благоразумный, солидный и корректный Костя, любимец отца, всегда относился несколько свысока к беспутному Шурке и нередко читал ему нравоучения. И всегда он был какой-то жесткий и гордился и тем, что вышел из школы правоведения с золотой медалью, и своим умом, и своими блестящими

успехами по службе. Когда бабушка оставила одному Шурке, своему любимцу, свое состояние, брат еще более озлился на Шурку, говорил с нескрываемым презрением, что дуракам счастье, и наотрез отказался взять половину наследства, которую Шурка великодушно предложил старшему брату. С тех пор они редко и видались. Шурка просаживал наследство, а Костя работал, усердно делая карьеру. Скоро он уехал в провинцию, назначенный двадцати семи лет прокурором окружного суда, и вернулся в Петербург, чтобы занять довольно видное место в то самое время, как младший брат должен был выйти из полка и избежал позора суда за подлог только благодаря тому, что отец заплатил за сына большую часть своего состояния... После этого Шурка обратился за помощью к брату, но получил от него жестокое письмо...

О, это было одно из тех бессердечных и в то же время неумолимо справедливых писем, логичных и строго принципиальных, которые могут писать только очень сухие и мнящие себя непогрешимыми люди. И «граф» до сих пор не забыл этого письма – он даже со-

хранил его, – в котором старший брат привел веские соображения, почему он считает невозможным помочь человеку, делающему подложные надписи, хотя бы таким человеком был и родной брат, и почему он «покорнейше просит» не считать его братом и ни в какие сношения не входить. Далее он откровенно выражал сожаление, что отец заплатил по векселю, а не передал дела судебному разбирательству, и рекомендовал пустить себе пулю в лоб. Это было бы самое лучшее.

С тех пор прошло пятнадцать лет. «Граф» знал из газет, что брат занимает очень видное место. О нем пишут в газетах. В иллюстрациях помещают его портреты. «Знатный братец» был знаменит, и пропойца-нищий раза два-три видел его на улице... видел и каждый раз вспоминал его со злобой. Он ненавидел его и глубоко презирал, считая его далеко не заслуживающим той репутации, какой он пользовался. Прослышав про его богатство, он был уверен, что «знатный братец», несмотря на всю свою корректность, далеко не разборчив в средствах, но только умеет ловко хоронить концы.

«Наверное, ворует!» – решил «граф» и нередко в компании таких же пропойц, как он сам, ораторствовал по поводу несправедливости и неправды, которые царят на земле.

– Укради что-нибудь какой-нибудь уличный воришка – и его в тюрьму, ему нет пощады, а если ворует видное лицо, как бы вы думали, что ему? Ничего! Даже если и попадется, то самое большее, что уволят и назначат в какой-нибудь совет... Так-то на свете творятся дела!

Он все ждал, что «знатный братец» попадется и его уволят, но проходили года, и он крепко сидел на своем месте, хотя озлобленная уверенность «графа» как будто и имела некоторые основания. По крайней мере о бескорыстии Опольева ходили весьма нелестные слухи в бюрократических кругах, и многие удивлялись, как это министр верит в добродетели Опольева.

С такими недобрыми воспоминаниями о своем «знатном братце» граф еще долго не засыпал. Он уж не надеялся больше на ответ. Никакого ответа не будет. Необходимо придумать новый источник для приобретения по-

лушубка.

XII

На следующее утро, скверное и сырое октябрьское утро, «граф» с Антошкой отправились в Александровский рынок и после тщательного осмотра разных костюмов и сапог купили, наконец, все, что было нужно.

Нельзя сказать, чтобы «граф» был удовлетворен покупками, но зато Антошка был в полном восторге и от сапог, и от поношенной темно-серой блузы, и от штанов, приобретенных за три рубля после довольно оживленного торга. В таком костюме Антошка еще никогда не ходил. Все было цело и, главное, впору, точно на него сшитое. «Дяденькины» же костюмы всегда отличались полным несоответствием с тоненькой и худенькой фигурой Антошки и имели вид мешков. Недурна была и фуфайка, приятно согревающая грудь, хороша была и шапка из поддельных смушек, купленная у татарина за двугривенный.

Из рынка они вернулись домой. Отворила им двери Анистья Ивановна, необыкновенно радостная, и тотчас же сообщила «графу», что

его ждет посыльный с «приятным письмом».

– Уж полчаса, как дожидается, Александр Иванович. Не могу, говорит, без расписки доверить... А я тоже сбегала, холста купила... Вечером и шить начну...

Радостное волнение охватило «графа» при известии о «приятном письмеце», и напрасно он старался скрыть его! Лицо его мгновенно просветлело и оживилось, и голос дрогнул, когда он торопливо проговорил:

– Попросите-ка, Анисья Ивановна, посыльного... Что за письмецо...

«Совесть в нем, видно, не совсем пропала!» – подумал он в ту же минуту.

Посыльный вошел в комнату «графа» и подал ему небольшой, элегантный, надушенный конверт с коронкой. К изумлению «графа», почерк на конверте был, очевидно, женский: мелкий английский и довольно красивый.

Он вскрыл конверт. Там было письмо и в нем двадцатипятирублевая бумажка. Тем же мелким почерком написанное письмо было следующего содержания:

«Дорогой дядюшка!

Папа поручил мне послать прилагаемые деньги и извиниться перед вами, что сам не отвечает вам. Он очень занят. Вместе с тем он просит не благодарить его и, если вам что будет нужно, обращаться ко мне. Я с большим удовольствием принимаю на себя эту обязанность и усердно прошу не забывать этого. Дай бог вам и вашему бедному мальчику всего хорошего. Преданная вам Нина Опольева».

Глаза «графа» были влажны, когда он прочитал это письмо.

Он понял, почему не надо благодарить «знатного братца», и тотчас же написал племяннице:

«Дорогая Нина Константиновна!

Ваша помощь и ваше доброе письмо тронули меня до глубины души. Что бы вам ни говорили обо мне, верьте, что присланные вами деньги будут употреблены на мальчика. Будьте счастливы и примите горячую благодарность от меня и от мальчика. Безгранично благодарный А.Опольев».

– Вот вам ответ и двугривенный за то, что ожидали меня! – радостно проговорил «граф»,

обращаясь к старику посыльному.

И затем спросил:

– Кто вам письмо передал? Сама барышня или прислуга?

– Сама барышня... Позвали в коридор перед кухней и передали...

– Что, как она?.. Должно быть, совсем молодая?

– Молодая... Лет этак двадцати, не более.

– Так, так... Брюнетка или блондинка?

– Чернявенькая, сударь... И аккуратненькая такая барышня.

– А собой как?.. Красива?

– Очень даже лицом приятные... И простые такие, даром что такого важного генерала дочь... Ласково так говорили со мной... Просили, чтобы скорей отнес вам письмо... Очень, мол, нужное... В собственные руки непременно отдайте... И целых шесть гривен дали... Не по такции, значит.

«Не в отца!» – подумал «граф».

Когда посыльный ушел, «граф» весело воскликнул, показывая Антошке бумажку, которую давно уже не видал в своих руках:

– Вот мы и с полушубком, Антошка... И у

нас еще про запас останется... Решительно тебе везет счастье! Спасибо милой племяннице... Спасибо молодому доброму сердцу... Оно отозвалось и поверило... Да, Антошка, молодость-то отзывчива...

– А откуда у барышни так много денег, что она вам такую бумажку прислала? – задал вопрос практичный Антошка.

– Откуда?.. Верно, отец на булавки ей дает... Она единственная у него дочь...

– На булавки... и такую пропасть денег?..

«Граф» объяснил, что значит «на булавки», и пошел заказывать Анисье Ивановне обед.

В тот же день Антошка щеголял в полужубке.

«Граф» в этот вечер не выходил на работу.

XIII

Княгине Марье Николаевне Моравской тридцать два.

Так по крайней мере она говорит вот уже года три-четыре, и показание это нисколько не противоречит ее наружности.

Она недурна собой, даже красива, свежа, цветуща и пышет здоровьем. Слегка подведенные глаза полны блеска и жизни и в то же время целомудренно-строги. Талии ее позавидовали бы многие барышни. Походка легка и грациозна. Фигура красивая и внушительная, напоминающая римскую матрону древних времен.

Всем этим она обязана не одному только господу богу, но в значительной мере и самой себе; так как заботы о своей персоне она возводит до степени культа и ведет самый гигиенический образ жизни, чтобы не пополнеть, не подурнеть и преждевременно не поблекнуть.

Она ежедневно берет холодную ванну, спит в прохладной комнате, ходит пешком верст по пяти, не ест мучного и сладкого, не

пьет горячего чая или кофе, рано ложится спать и рано встает – словом, основательно блюдет себя.

Детей у нее нет. Мужу, военному генералу, страдающему ревматизмом и печенью, под шестьдесят. Исключительно светская жизнь княгиню не удовлетворяет. Семейная – и по-давно. Супруг совсем не интересен со своим ревматизмом и брюзжанием. Свободного времени у княгини много, и она отдает его на служение ближним.

Она – дама-благотворительница, необыкновенно деятельная и энергичная.

В этой деятельности она находит удовлетворение. Поглощенная ею, княгиня не так чувствует «тяжесть креста», как фигурально она называет свой брак с почтенным генералом.

В свою очередь и князь, хотя и относится слегка насмешливо к «филантропическому зуду» жены и к тому, что она «пускает к себе всякую сволочь», тем не менее, в сущности, весьма доволен и охотно открывает супруге свой кошелек.

Еще бы! Ведь благодаря ее увлечению он

избавился от семейных сцен, он не видит скупающего лица любимой жены, он не слышит ядовитых намеков о загубленной жизни.

Все это как рукой сняло с тех пор, как Марья Николаевна посвятила себя делам благотворения и в них, казалось, забыла о неудовлетворенности личной своей жизни. Она стала мягче и ласковее с мужем и, по-видимому, прощала ему и его шестьдесят лет, и его печень и терпеливо выслушивала за обедом жалобы князя на государственных людей.

Вы, вероятно, видели эту высокую, статную, элегантную женщину со слегка приподнятой головой, одетую почти всегда в черное, безукоризненно сшитое платье, на благотворительных вечерах, где она является в качестве распорядительницы и всегда о чем-то хлопочет, отдает приказания, появляясь то тут, то там? Если не видали, то, наверное, знаете княгиню Моравскую понаслышке, как об известной благотворительнице. И уж, во всяком случае, встречали ее имя в газетах.

Она председательница кружка «Помогай ближнему!», член разных благотворительных обществ, издательница и автор многих душе-

спасительных брошюр, рекомендующих в горячей вере найти забвение от терний жизни, устроительница всяких благотворительных спектаклей, концертов, лекций и базаров и одна из самых умелых и назойливых опустошительниц карманов своих многочисленных знакомых в различных слоях общества.

Стоит только быть ей представленным или явиться к ней по какому-нибудь делу, как через минуту-другую у вас в руках два-три билета на какое-нибудь зрелище с благотворительной целью. Отделаться от княгини так же трудно, как попасть в царство небесное. Она нападает внезапно, без всяких предисловий и смотрит на вас так строго и решительно, что нужно обладать большим мужеством, чтобы немедленно не вынуть бумажника и не заплатить контрибуции.

Репутация княгини в свете выше всяких подозрений. Ее даже не злословят и только удивляются самоотвержению, с каким она несет крест свой, имея на руках шестидесятилетнего мужа. Ее уважают, но не особенно любят. Злые языки даже говорят, что от сердечных увлечений княгиню спасают не

столько строгие правила, сколько темперамент. Она холодна по натуре и слишком дорожит своею репутацией, чтоб рискнуть увлечься.

Но как бы то ни было, а княгиня высоко держит знамя супружеского долга и женской добродетели и, гордая ею, даже не повторяет слов пушкинской Татьяны, так как никого не любит, кроме самой себя.

В это утро княгиня, проведя после ванны целый час в уборной, где выпила чашку жидкого чая с крошечным сухариком, по обыкновению ровно в девять часов вышла в свой роскошный небольшой кабинет, убранный с тонким вкусом и изяществом и полный редких художественных вещей.

Свежая, цветущая и благоухающая, княгиня была в черном кашемировом платье, нежная ткань которого плотно охватывала красивые формы. Темно-каштановые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в коронку, возвышавшуюся над головой. Не совсем правильные крупные черты ее лица не лишены

были той холодной красоты, которая светит, а не греет. Высокий лоб, прямой римский нос, чуть-чуть приподнятый, с расширенными ноздрями, румяные щеки, тонкие, плотно сжатые губы, большие темно-серые глаза и над ними красивые дуги густых бровей.

И в выражении этих глаз, и в складе рта, и в несколько горделивом подъеме головы, и во всей ее фигуре было что-то строгое, холодное и самоуверенное. Сразу чувствовалось, что эта красивая женщина любит себя и свое холоное тело, внутренне любит себя и своим видом будто говорит: «Посмотрите, какая я цветущая, здоровая и добродетельная. Чувствуйте это!»

В маленьких ее ушах сверкали брильянтовые кабюшоны [7]. На руках колец не было, за исключением обручального. Кольца едва бышли к ее несколько крупным, почти мужским, белым, выхоленным рукам с крепкими розоватыми ногтями больших, но породистых пальцев.

Она подошла к письменному столу, на котором с поразительною аккуратностью были расставлены разные письменные красивые

принадлежности и расположены бумаги и книги, и посмотрела в свою маленькую записную книжку, в которую княгиня записывала программу дня.

Оказалось, что сегодня во время прогулки ни одного из клиентов кружка посещать не следует. В час у нее заседание комитета, в три у нее назначено деловое свидание, а в четыре она должна ехать хлопотать о концерте. Вечером – благотворительный спектакль.

Она посмотрела затем аккуратно собранные в папке прошения для доклада в сегодняшнее заседание и, взглянув на часы, прошла через анфиладу комнат на половину мужа. Она всегда ходила здороваться к нему сама, чтобы муж не являлся к ней и не засиживался у нее, отнимая время.

Низенький, худой, плешивый старик генерал в коротенькой тужурке, с закутанными в плед ногами, сидел в большом кресле в жарко натопленном кабинете и читал газету.

При виде своей молодой и цветущей жены, с появлением которой в комнату как будто ворвалось само здоровье, он завистливо вздохнул и, поднявшись с кресла, пошел к

ней навстречу, стараясь твердо ступать тоненькими ногами и вообще принять молодцеватый вид.

– Здравствуй, Marie.

И князь почтительно и нежно поцеловал руку жены. Она слегка прикоснулась губами к его холодному желтоватому лбу.

Перед высокой, крепкой, здоровой княгиней тщедушный князь казался каким-то карликом.

– Доброго утра, Пьер. Ну, как ты сегодня себя чувствуешь? Кажется, хорошо? – спросила княгиня своим низким и густым красивым контральто.

– Сегодня как будто получше... Ревматизм не донимает. А тебя и спрашивать нечего... Цветешь, красавица! – прибавил нежно князь, и взгляд его маленьких тусклых глаз скользнул по роскошному бюсту жены...

– Ну, до свидания... Иду гулять...

– До свидания, Marie...

Он опять поцеловал женину руку и спросил:

– К завтраку придешь?

– Разумеется...

Княгиня облегченно вздохнула, выйдя из этой душной, натопленной комнаты, – она не любила жарких комнат, – и прошла в переднюю.

Молодая, чисто одетая горничная уж ожидала ее там со шляпкой перчатками и зонтиком. Представительный лакей подал ей коротенькую жакетку, и княгиня, несмотря на сырость и дождь, пошла «делать моцион», направляясь твердой и скорой походкой с Гагаринской набережной к Летнему саду.

Перед уходом она взглянула на часы. Было ровно десять.

– В половине двенадцатого я вернусь! – сказала она швейцару и прибавила: – Если кому-нибудь меня нужно видеть, пусть подождет.

– Слушаю, ваше сиятельство! – отвечал швейцар.

Княгиня обязательно гуляла ровно полтора часа, ни более ни менее, имея с собою подометр, и – совсем не по-женски – была аккуратна, как вернейшие часы, и – что еще удивительнее – умела отдавать приказания кратко, ясно и точно.

XIV

Вернулась она слегка вымокшая, зарумяненная и проголодавшаяся.

– Никого не было?

– Никак нет, ваше сиятельство!

Переменив обувь (калош княгиня не носила) и чулки, она присела к письменному столу и принялась просматривать газеты принесенные от князя и отчеркнутые красным карандашом в тех местах, которые почему-либо ему очень нравились или, напротив, возбуждали его негодование.

Княгиня, впрочем, не особенно интересовалась такими местами, находя взгляды мужа слишком уж напоминающими времена Иоанна Грозного, но все-таки их прочитывала, чтобы подавать в случае разговора реплики.

Часы пробили двенадцать.

И с последним ударом хорошо вышколенный княгиней лакей доложил, что завтрак подан.

Княгиня отложила в сторону не прочитанные еще «Times» и «Figaro» [8] и торопливо прошла в столовую.

Князь уже был там в расстегнутом сюртуке, под которым был ослепительной белизны жилет, и не садился в ожидании княгини.

Им подали различные блюда после того, как они отведали закуски. Князю – бульон, яйца всмятку и рубленую, разбавленную хлебом куриную котлетку с каким-то пюре, а княгине – большой сочный кусок филе.

Плотоядный огонек блеснул в глазах проголодавшейся женщины, когда она, съев маленький кусочек селедки, заложила салфетку за ворот платья и положила с серебряного блюда к себе на тарелку филе, полив его почти кровавым соусом.

Она ела «корректно», не спеша, с видимым наслаждением, хорошо прожевывая куски и запивая их глотками чуть-чуть тепловатого польяка из маленького стакана, и что-то животное, напоминающее радостного зверя, было в это время в красивом лице княгини. Глаза оживились; широкие ноздри слегка раздувались.

Она вся, казалось, отдавалась наслаждению еды, серьезная и сосредоточенная, и словно бы инстинктивно чувствовала, что в

этом кровавом нежном мясе, которое она дробит своими крепкими и крупными белыми зубами, она черпает и свою свежесть, и румянец, и здоровье.

А генерал в эту минуту лениво ковырял вилкой котлетку, поглядывая на жену и завидуя ее аппетиту. Он знал, что жена не любит разговаривать во время еды, и молчал.

Княгиня окончила мясо и чувствовала, что еще голодна. Но она удержалась от соблазна взять кусок холодной индейки, поданной лакеем, и только скушала немножко цветной капусты.

Затем ей подали крошечную чашку кофе и тут же на подносе письмо.

Она прочитала письмо и сказала лакею:

– Пусть мальчик подождет. Когда я кончу завтракать, проведите его в коридор. Что! Он очень грязен?

– Нет, ваше сиятельство, незаметно...

– А одет как, в лохмотьях?

– Одевание весьма пристойное. Полушубок-с.

– В таком случае проведите его в мой кабинет! – приказала княгиня.

Она выжидала, пока остынет кофе, и генерал воспользовался этим, чтоб заговорить.

– А ты обратила, Marie, внимание, что делается во Франции?..

– Как же, читала...

– Недурная страна равенства и братства. Хе-хе-хе...

Княгиня отмалчивалась.

– А я говорю, что и мы к тому же идем!

Жена подняла на мужа удивленные глаза и стала отхлебывать маленькими глоточками кофе.

– Ну уж, ты слишком, – промолвила она.

– Не слишком, душа моя, а я вижу, что творится в бедной России... Земство все еще о себе воображает... Ты читала корреспонденцию из Оршанска?.. Я отметил...

– Нет еще...

– Так прочти... Увидишь, что не слишком... И вообще... Само правительство созывает какие-то сельскохозяйственные съезды... Говори что угодно... Решительно у нас нет государственных людей... Надо бы сразу, знаешь ли...

Княгиня, почти не слушая, тщательно вы-

поласкивала рот.

– Извини, меня там ждут, – проговорила она, вставая...

Поднялся и князь.

– Непременно, Marie, прочти... Это бог знает что такое...

– Прочту, будь уверен...

– Тебе не нужна будет карета?.. Я еду сегодня в совет.

– Нет... Я выеду на дрожках.

И супруги разошлись по своим комнатам.

Тем временем Антошка, вымытый и причесанный, в новом полушубке и вычищенных сапогах, сидел в сторонке в обширной кухне и зоркими, любопытными глазами молчаливо наблюдал и повара в белой куртке и колпаке, и лакея во фраке, и забежавшую щеголеватую горничную и не оставил без должного внимания длинного ряда блестящих кастрюль, кастрюлек и разных не виданных им форм и медных вещей, расставленных на трех полках.

Это обилие вычищенной на славу медной

посуды несколько удивило его, и он решил, что держать столько бесполезных вещей положительно ни к чему. Если бы половину продать, и то было бы за глаза достаточно.

И пылкое его воображение уже оценивало приблизительно стоимость назначенного им к продаже и на эти деньги, которые он почему-то уже считал своей собственностью, покупало теплую шубу «графу», необходимую для такого больного человека. А эту ночь бедный «граф» все кашлял, кашлял и утром, снаряжая Антошку к княгине, часто схватывался за грудь.

Анисья Ивановна поила «графа» малиной и советовала ему посидеть дома.

Вот почему Антошка жалел «графа», и воображение его, увлеченное видом бесполезных кастрюль, работало в известном направлении.

Затем, наблюдая, как повар без церемонии пробует кушанья, Антошка возымел желание сделаться поваром и начал было размышлять, сколько княжеский повар должен получать жалованья (должно быть, немало – недаром он такой толстый!), – как вошедший ла-

кей прервал его размышления и сказал:

– Пойдем, мальчик, к княгине!.. Да сапоги оботри хорошенько, а то наследишь!

Несколько оробевший Антошка вытер насухо сапоги и пошел вслед за лакеем, осторожно ступая по паркетным полам и коврам.

Лакей отворил двери кабинета и слегка подтолкнул Антошку. Он очутился перед лицом княгини.

XV

Антошка остановился у дверей с разинутым ртом от изумления и теребил в руках шапку, несколько смущенный и подавленный при виде пушистых ковров, картин, мебели, обоев, разных вещей, клетки с попугаем – словом, всей роскошной обстановки комнаты, в которой находился.

Никогда в жизни не видал он ничего подобного и, озираясь с видом ошалевшего дикаря, в первую минуту не заметил княгини, сидевшей в дальнем углу за письменным столом и несколько скрытой трельяжем.

– Попка! Попка дурак!.. Попочка!

Антошка вздрогнул.

Однако, догадавшись скоро, что это кричит птица, он сосредоточил на ней свое внимание и улыбнулся.

Княгиня между тем рассматривала Антошку в длинный черепаховый лорнет с тем подозрительным вниманием, с каким обыкновенно смотрят благотворители на обращающихся к ним клиентов.

По-видимому, она осталась довольна первым впечатлением, произведенным на нее выразительным, бледным и худым лицом Антошки, и, отводя лорнет, произнесла ободряющим, мягким, но в то же время деловым тоном:

– Подойди поближе. Не бойся, мальчик!
Антошка только теперь увидал княгиню.

Осторожно ступая по ковру, словно у него был ларец в руках, и боясь что-нибудь задеть в этой полной мебели и всяких диковинных штук комнате, он сделал несколько шагов и остановился в почтительном отдалении.

– Еще ближе! – приказала княгиня.
Антошка приблизился к столу.

Первое впечатление охватившего его смущения уже прошло. Недаром же Антошка

большую часть своей жизни проводил на улице, обращаясь за копеечками для «бедного сиротки» преимущественно к хорошо одетым людям, норовя их по возможности «объегорить», как выражался он сам в минуты откровенности.

И Антошка довольно смело поднял свои умные, бегающие карие глаза на свежее, красивое, выхоленное лицо княгини и, помня наставления «графа», не соорудил плаксивой физиономии, так как этого по обстоятельствам не требовалось.

По-видимому, наружность молодой женщины удовлетворила эстетическое чувство Антошки и вполне соответствовала его представлению о красоте настоящих княгинь и о том, что они едят с золотых тарелок и, разумеется до отвала, пищу самую хорошую и потому такие гладкие и румяные.

Но костюм княгини, признаться, разочаровал его.

Воображению его представлялось – да и фотографии разных важных барынь, выставленные в витринах, казалось, подтверждали его, – что настоящие княгини и графини обя-

зательно должны быть в каких-нибудь особенных платьях, затканых серебром или золотом, и непременно с оголенными шеями и руками, украшенными драгоценными камнями, или по крайней мере в красных, а не то голубых платьях, стоящих много денег, а вместо того эта княгиня, в комнате у которой так все красиво и пахнет чем-то приятным, одета вся в черном, точно монашка.

Только горевшие в ее ушах крупные брильянты указывали, по мнению Антошки, на отличие ее от обыкновенных барынь, которых он видал на улицах. Да и у многих из них были такие же камешки.

«Скупая, должно быть. Жалеет одежды», – решил Антошка.

– Как тебя зовут, мальчик?

– Антошка, ваше сиятельство! – довольно бойко отвечал Антошка.

Он с особенным, свойственным мелким торгашам, щегольским мастерством произнес титул, которым с расточительною щедростью награждал, не справляясь в департаменте герольдии [9], лиц, покупавших у него на улице спички, бумаги и конверты.

– А твоя фамилия?

Антошка опешил. Он не знал, как его фамилия, и никогда не интересовался знать, есть ли у него она, и вообще нужна ли ему такая роскошь.

– Меня все Антошкой зовут, ваше сиятельство!

– Однако должна же у тебя быть фамилия?

– В документе, который граф отобрал у дяденьки, верно, обозначена фамилия.

«Граф» и «дяденька» решительно ничего не объяснили княгине и только усложнили дело допроса, вызвав на лице княгини выражение некоторого недоумения.

– Так ты не знаешь, как твоя фамилия?

– Не знаю, – отвечал Антошка, несколько сконфуженный, что на первых же порах дал маху и не догадался сочинить фамилию, которая, судя по словам княгини, должна была быть и у него.

– Кто твои родители?

– У меня нет родителей, ваше сиятельство!

– То есть умерли?

– Бог их знает. Надо полагать, что умерли.

– И матери не помнишь?

– Не помню.
– У кого же ты жил до сих пор?
– У Ивана Захарыча...
– Кто он такой... Твой родственник?
– Назывался дяденькой, только он не дяденька, а чужой... Я у него в нищенках работал, а потом с ларьком ходил... У него много детей живет в нищенках... На него собирают... Этим он и живет.

Антошка решительно заинтересовал княгиню, открывая ей Америку. Она, ретивая благотворительница, и не знала, что в Петербурге существует такой безнравственный промысел.

– Где живет этот Иван Захарович?

Антошка сказал адрес. Княгиня записала его в записную книжку и продолжала допрос:

– А теперь ты где живешь?

– У графа...

– У какого графа? – удивилась княгиня и в то же время подумала, что ее несчастный кузен обманул ее, написавши, что мальчик находится у него.

– То есть они не графы, а только их так прозывают... А по-настоящему их зовут Алек-

сандр Иваныч Опольев... Они, можно сказать, меня и спасли от Ивана Захарыча, как я от него убежал... Они мой документ у него отобрали и приютили меня...

– А ты отчего убежал от этого Ивана Захарыча?

– Шибко бил... Ремнем бил...

– Тебя только бил?

– Меня еще реже, а других ребят и не дай бог как хлестал, ваше сиятельство... Особенно маленьких...

– За что же он наказывал?

– Главное за выручку.

– Как за выручку?

– Если кто, значит, мало соберет милостыньки. А – извольте рассудить, ваше сиятельство, – ежели в дурную погоду да в рваной одежде, какая тут выручка? Тут дай бог не заколеть от холода, а не то что выручка... А он этого не разбирал... Все больше жена его, подлая, настраивала... Озвереет, и давай ремнем...

– Какой ужас! – проронила княгиня. – И дети никому не жаловались?

– Кому жаловаться? Он застращивал. «Вы,

говорит, у меня проданные, я, говорит, что хочу, то с вами и делаю!..» Дай бог здоровья графу, это он объяснил, что мы не проданные... Я и убежал от этого дьявола, ваше сиятельство!

Положительно Антошка являлся в некотором роде интересным героем в глазах княгини. Его рассказ может дать благодарную тему для сегодняшнего заседания комитета...

И она сказала Антошке:

– Расскажи мне подробно и по чистой правде, за что именно тебя наказали и как ты убежал... И почему именно к «графу»... Ты где с ним познакомился?

– На улице... Они тоже работали...

– Как работали?

– Сбирали, значит... Только больше по вечерам...

«До чего упал!» – подумала княгиня и проговорила:

– Так рассказывай же, как это все случилось...

С этими словами княгиня придвинула записную книжку и карандаш, чтобы отметить существенные показания Антошки и не забыть их при докладе.

Она всегда, допрашивая клиентов с искусством и настойчивостью хорошего судебного следователя, записывала даваемые ей сведения и затем наводила более или менее точные справки о просителях, считая возможным и полезным оказывать помощь только более или менее добропорядочным нищим, то есть таким, которые ради подачки не лгут наглейшим образом.

Эта система помощи, возведенная в принцип, строго проводилась в обществе «Помогай ближнему!», председательницей которого была княгиня, и потому, вероятно, многие его клиенты запасались самыми доброкачественными свидетельствами, фабриковавшимися умелыми людьми, о разных более или менее правдоподобных злоключениях и несчастиях.

Польщенный вниманием, оказанным его особе настоящей княгиней, Антошка не без повествовательного таланта рассказал о непосредственной причине своего бегства, предпослав эпизод с двугривенным, данным доброй барыней, и не злоупотребил вниманием своей слушательницы подробностями выдержанной им порки. Подчеркнув затем с по-

хвальнойно, впрочем, скромностью подвиги, оказанные им самим в этот достопамятный вечер, он с художественною краткостью и силою расписал «дяденьку» и «рыжую ведьму» и с горячим чувством признательного сердца рассказал про гостеприимство доброго «графа».

– Кабы не граф, пропасть бы мне, как собаке, ваше сиятельство! – заключил Антошка свой рассказ.

И с этими словами вытер рукавом обильно струившийся по лицу пот, так как продолжительное пребывание в теплой комнате, да еще в полушубке, давало-таки себя знать.

Княгиня записала показания Антошки и, когда он кончил, подняла на него испытующий взгляд.

Довольно приличный, относительно, костюм Антошки возбудил вдруг в ней подозрительные мысли и словно бы бросал тень на правдивость рассказа. Ведь ей рассказывают так много невероятных вещей!

И она спросила:

– Ты не лжешь, мальчик?

– Убей меня бог, ваше сиятельство.

– Не клянись всуе... Это нехорошо, – строго остановила Антошку княгиня и продолжала: – Тебя не научил рассказать всю эту историю твой «граф»?

– Они приказывали правду говорить и ничему не научали. Граф ничему дурному не научит! – горячо заступился за «графа» Антошка, чуя в словах княгини, что «графа» подозревают в чем-то нехорошем.

– Ты рассказывал, что убежал от этого Ивана Захаровича в летнем пальто и в башмаках...

– Точно так, ваше сиятельство.

– Так объясни мне, пожалуйста: откуда у тебя и полушубок и сапоги, а? где ты их достал? – допрашивала княгиня, продолжая смотреть в глаза Антошки и ожидая, что мальчик смутится.

Но Антошка несколько не смутился и ответил:

– Все это мне граф справили.

– «Граф»? – усмехнулась княгиня. – Но твой благодетель сам нищий... На какие же деньги он мог тебя одеть?.. Это что-то неправдоподобно! – говорила княгиня, которая действительно

но не могла понять, что этот несчастный пропойца и нищий, каким был ее кузен, мог не только сердечно отнестись к другому нищему, но еще и одеть его.

Тогда Антошка рассказал про письма, которые «граф» разносил, и про двадцать пять рублей, полученные от какой-то «сродственницы». Из этих денег «граф» и сделал полную обмундировку. Все справил: и рубахи, и пиджак, и сапоги, и полушубок...

– Вот какой граф, ваше сиятельство! – произнес дрогнувшим голосом Антошка. – Как отец родной... И я за графа, кажется, что угодно приму... Меня-то одели и обули в самом лучшем виде, а сам-то граф, ваше сиятельство, в зябком пальтеце ходят... Наскрозь продувает... Хучь бы воротник меховой какой, и того нет... А между тем больны... Кашляют страсть! – говорил со страстностью адвоката Антошка, имея заднюю мысль порадеть в пользу своего друга. Быть может, княгиня, узнав положение родственника, справит графу шубу.

Речь Антошки дышала такой правдой, что даже и пессимистическая княгиня поверила,

что Антошка не рассказывает заранее сочиненной истории. И княгине как будто стало неловко за свои подозрения на своего «пропавшего» кузена. Она прежде его знала, и он ей когда-то даже нравился.

И княгиня, значительно смягчившись, спросила:

– Так твой «граф» болен?

– Грудью, должно быть, больны...

– Пьет, видно?..

– И вовсе не пьет, ваше сиятельство! – решительно отвечал Антошка.

Княгиня недоверчиво усмехнулась.

Затем она задала Антошке еще несколько вопросов относительно помещения и пищи у Ивана Захаровича и, получив обстоятельные ответы, занесла их в записную книжку.

Как ни лестно было Антошке находиться в гостях у княгини, тем не менее визит этот начинал казаться ему несколько продолжительным. Было дьявольски жарко и очень хотелось есть.

И Антошка рассчитывал, что княгиня тотчас же прикажет выдать «графу» на шубу, а ему, Антошке, тоже отвалит по крайней мере

рубль и отпустит его домой.

Но надежды Антошки не оправдались.

Княгиня несколько времени молчала, погруженная, казалось, в какие-то размышления, и, наконец, обратилась к Антошке с вопросом:

– Тебе сколько лет?..

– Пятнадцатый...

– Грамоте, конечно, не знаешь?

– Немножко, самоучкой, ваше сиятельство.

– А в церковь ходишь?..

– Нет, ваше сиятельство...

Княгиня строго покачала головой и что-то черкнула в книжке.

– Но по крайней мере дома молишься каждый день?

Антошка, имевший довольно смутные понятия и о религии и о религиозных обязанностях, обыкновенно прибегал к помощи господа бога в экстренных случаях, преимущественно тогда, когда выручка была плоха и ему грозила, по его соображениям, порка. В такие моменты Антошка с страстной горячностью молился богу, сочиняя сам молитвы, приноровленные исключительно к обстоя-

тельствам дела. Он просил всемогущего, чтобы он послал ему хорошую выручку или чтобы запретил подлому черту «дяденьке» наказывать его ремнем, а в некоторых случаях, когда молитвы его не бывали услышаны и Антошка возвращался из комнаты «дяденьки» с исполованной спиной, – он обращался к господу богу с молитвами уже самого нехристианского характера, а именно: просил, чтобы «дяденьку» разразило на месте, а «рыжую ведьму» взяли черти.

Затем он часто упоминал имя божие и особенно Христа-спасителя во время нищенства, а во время своей торговой деятельности клялся и божился, призывая господа бога в доказательство доброкачественности и дешевизны спичек, конвертов и бумаги, – с расточительностью, воистину греховной.

Таково было религиозное поведение Антошки.

И потому, когда княгиня задала ему последний вопрос, он, решительно не знавший, что молиться следует каждый день, а не тогда только, когда грозит встрепка, добросовестно сознался, что каждый день не молится.

И, сознавшись, тотчас же раскаялся, что не соврал, так как опять увидел, как неодобрительно княгиня покачала головой и снова черкнула что-то в своей книжке...

Решительно, конец визита подгадил все. «Теперь тютю и графская шуба и рубль!» – подумал Антошка, прозревая, как опытный наблюдатель, в серьезном выражении красивого лица княгини и особенно в ее глазах, больших, строгих, темно-серых глазах, что-то недовольное и малообещающее.

– Ты знаешь какую-нибудь молитву?

Увы! Антошка не знал ни одной молитвы, кроме вдохновенных молитв собственного сочинения.

Соврать было решительно невозможно. Эта «занозистая княгиня», как уже мысленно окрестил ее Антошка, сейчас же поймает.

И Антошка, испытывая чувство подавленности и некоторого раздражения, далеко без прежней развязности проговорил:

– Не знаю.

Снова зачиркал карандаш. И опять вопрос:

– И «Отче наш» не знаешь?

– Не знаю! – утрюмо, опуская на ковер гла-

за, прошептал Антошка.

– Бедный мальчик! – промолвила княгиня, отметив в книжке, что Антошка не знает даже «Отче наш».

Но это восклицание не приободрило Антошку и только отозвалось в его ушах, но не проникло в сердце.

Снова наступило молчание.

Антошка с удовольствием готов был бы дать тягу, значительно разочаровавшись в настоящих княгинях, которые, вместо того чтобы дать мальчику на бедность и приказать его накормить, нудят его допросами, не принимая в соображение, что он задыхается от жары.

«Нечего сказать, княгиня!»

То-то он расскажет «графу», как она донимала. И что за беда, что он не знает молитв. Он может их выучить, если на то пошло!

– Я подумаю, что для тебя можно сделать, мальчик! – проговорила, наконец, княгиня и пожала плечики электрического звонка.

Явился лакей.

– Проводите мальчика на кухню. Пусть он там подождет. Что, все приготовлено в зале?

– Все готово, ваше сиятельство!

– Ступай, мальчик, посиди. Ты еще будешь мне нужен.

Антошка вышел, несколько недоумевающий.

«Что еще с ним будут делать? Неужели опять нудить допросами? В таком случае хоть бы дали поесть!» – подумал Антошка, чувствуя дьявольский аппетит, особенно усилившийся на кухне, где пахло чем-то вкусным.

Но княгиня, скорбевшая о мальчике, не знавшем даже «Отче наш», и решившая сегодня же в заседании поднять вопрос о том, как его устроить, не подумала, что мальчик, может быть, голоден, и не приказала накормить Антошку.

XVI

В час начали собираться члены комитета Общества «Помогай ближнему!».

В ожидании начала заседания в кабинете княгини шла обычная болтовня: передавали новости, говорили о погоде, о только что назначенном новом министре, о последнем судебном деле, интересовавшем Петербург.

Собравшиеся дамы-благотворительницы принадлежали к разным кружкам петербургского общества: было несколько светских, две-три принадлежащие к среднему кругу, одна женщина-врач и некрасивая, немолодая, сухощавая девица – купчиха-миллионерка, известная своею щедрою благотворительностью.

Во втором часу княгиня попросила гостей перейти в зал. Почти все собрались, только адмиральша Андрусова, по обыкновению, опоздала – верно, скоро приедет.

Все уселись вокруг большого стола, покрытого зеленым сукном, на котором были разложены листы белой бумаги, очиненные карандаши и экземпляры последнего отчета.

На конце стола перед креслом председательницы рядом с большой чернильницей и перьями лежали папки с бумагами и красовался звонок.

– Открываю заседание! – произнесла княгиня, опускаясь в кресло.

По обе ее стороны уселись единственные два мужчины, бывшие среди присутствовавших девяти дам: казначей общества Артемий Ильич Пушников, известный петербургский коммерсант и богач, пожилой, сухощавый господин с бритым лицом, смахивающий на англичанина, и секретарь, господин Цветковский, молодой блондин из лицеистов [10] с приятным, несколько женоподобным лицом, мягкими, изящными манерами и почтительно-нежным взглядом красивых голубых глаз, – словом, с тою наружностью, которая словно бы присуща секретарям дамских благотворительных обществ.

Корректный, элегантно одетый, коротко стриженный, с бородкой а la Henri IV, чистенький и аккуратный, он и имя имел вполне соответствующее положению: Евгений Аркадьевич [11].

Сын небогатых родителей, он служил в одном из департаментов и подавал надежды, а досуги свои посвящал обществу «Помогай ближнему!», работая в нем усердно и добросовестно и несколько побаиваясь строгой председательницы, которая вникала во все дела и, энергичная, деятельная и до щепетильности аккуратная сама, требовала и от других добросовестного исполнения принятых на себя обязанностей.

– Не угодно ли, Евгений Аркадьевич, прочитать протокол прошлого заседания?

Цветковский поднялся с кресла и приятным, слегка певучим баритоном стал читать протокол о разрешенных разным лицам пособиях, о назначении пенсий, о наведении справок, об отказах по тем или другим причинам, об устройстве благотворительного концерта и тому подобное.

Чтение заняло минут пять времени.

– Угодно принять протокол? – спросила княгиня.

Никто не возражал.

Секретарь положил протокол перед председательницей. Она подписала его, и затем

все стали подписывать, передавая протокол друг другу, пока он не вернулся к секретарю и, им подписанный, бережно и аккуратно был вложен в портфель.

– Вы готовы, Евгений Аркадьич?

– Готов, княгиня! – отвечал секретарь, кладя перед собой чистый лист бумаги и вооружаясь пером.

– Не угодно ли прослушать справки о лицах, обращавшихся с просьбами о пособии в прошлое заседание. Лидия Васильевна!.. Вам первой... О вдове рядового Камчатского пехотного полка Пелагее Устиновой... прачке, – говорила княгиня привычным, деловым тоном, громко и отчетливо, заглядывая в исписанный листок.

Некрасивая пожилая девушка-миллионерка, за громадным состоянием которой напрасно охотились одно время молодые и красивые женихи титулованных фамилий, стала давать отчет о своем посещении прачки.

Она говорила порывисто и горячо, краснея, торопясь и заикаясь и оттого, что конфузилась говорить на собраниях, хотя была членом во многих благотворительных обще-

ствах, и оттого, что сознавала некрасивость своего желтого прыщеватого лица с подслеповатыми глазами, и оттого, что на нее были обращены взгляды всех присутствовавших дам, которые не без зависти разглядывали ее простое, но прелестно сшитое платье от Ворта и крупные брильянты в ушах.

Она была на прошлой неделе у Пелагеи Устиновой, на Петербургской стороне. Положение ее ужасное. Ей пятьдесят пять лет. Вот уже год, как она не в состоянии работать и добывать себе кусок хлеба. У нее застарелый ревматизм, и она не встает с постели. В больницу ее не принимают...

– Кажется, хронических больных не принимают в больницы, Анна Игнатьевна? – обратилась некрасивая миллионерка к даме, сидевшей напротив.

Плотная, здоровая и крепкая женщина-врач, лет около сорока, в черном шелковом платье, с золотой цепочкой от часов поверх лифа, с тем твердым, уверенным и даже самодовольным выражением на своем широком, румянном лице с крупными некрасивыми чертами, которое нередко бывает у женщин,

добившихся тяжелым, долгим трудом успеха в жизни, подтвердила предположение девушки-миллионерки, заметив авторитетным тоном:

– Совершенно верно. Хроники в больницы не принимают.

– Вот и старуха говорит, что ее не приняли...

И девушка-миллионерка продолжала перечислять беды Пелагеи Устиновой.

Родных у нее здесь ни души. Живет она в отвратительном угле и три месяца не платит за квартиру, так что бедную старуху квартирная хозяйка грозит выгнать... Все, что она скопила на черный день, прожито... Все это рассказала старуха... Она вообще производит хорошее впечатление... Ее слова подтвердили и все ее сожителю и квартирная хозяйка.

– По моему мнению, ей непременно следует помочь... даже назначить пенсию! – заключила докладчица, деликатно, разумеется, умолчав, что при посещении старухи она дала ей своих пять рублей.

– Мне кажется, самое лучшее нам поместить ее в богадельню! – проговорила княгиня.

ня.

Все согласились, что это было бы лучше всего.

– Я говорила ей об этом, но она не хочет.

– Отчего не хочет?

– Она надеется поправиться и опять работать...

Еще бы ей хотеть в богадельню, этой Пелагее, известной на Петербургской стороне нищей и посетительнице кабаков.

Она, эта охавшая, с завязанным лицом старуха, тотчас же по уходе дамы-благотворительницы вскочила с постели как встрепанная и, добросовестно поделившись с сожителями за подтверждение ее бесшабашного вранья, ушла из квартиры и вернулась домой мертвецки пьяная.

Отдавши должную дань трудолюбивым порывам Пелагеи Устиновой, комитет постановил: назначить ей по три рубля ежемесячного пособия на год и, если она не поправится, хлопотать о помещении ее в богадельню. О постановлении известить просительницу.

Женщина-врач, сообщившая о престарелой вдове мелкого чиновника, и господин

Цветковский, доложивший об одной молодой женщине, брошенной с четырьмя детьми негодяем мужем, были не так восторженны в своих речах, как девушка-миллионерка, и, по всей вероятности, менее доверчивы к словам разного бедного люда, который им приходилось посещать по своим обязанностям благотворителей. Но так как и вдова-чиновница, и женщина, брошенная мужем, бесспорно жили в нищете, то им было назначено временное пособие по пяти рублей на каждую, причем поставлено было иметь в виду брошенную женщину и ее малолетних детей.

Затем княгиня стала докладывать поступившие прошения.

Их было порядочно, этих прошений, на больших и на маленьких листах белой и серой бумаги, написанных и чувствительным, и строго деловым, и патетическим, и унижительным, и ругательным слогом, и длинных, с автобиографическими подробными сведениями, и с изложением утешительных видов на будущее, и лаконических в несколько строчек, и, наконец, юмористических, в которых разная беднота, но по преимуществу

«престарелые капитаны и поручики», «несчастливые благородные дворяне» и «горемычные вдовы», обремененные сиротами, звали к «добрым сердцам» и «высокому покровительству» высочайше утвержденного общества «Помогай ближнему!».

Княгиня не читала прошений, особенно длинных и иногда не лишенных глубокого трагизма, скрытого в высокопарных, безграмотных словах, а делала извлечения, выбирая самое существенное.

По нескольким прошением давнишних клиентов разрешены были выдачи, нескольким хорошо известным пьяницам было отказано, а по остальным решено собрать сведения...

Доложив последнее прошение, княгиня проговорила:

– Теперь позвольте обратить ваше внимание на одно из тех ужасающих зол, которые, к стыду нашему, творятся в Петербурге... Я сегодня, сейчас об этом узнала, и совершенно случайно. Знаете ли вы, что в Петербурге существует особый промысел: брать несчастных детей и посылать их, рваных и плохо обутых,

просить милостыню на улицах. Мы все, конечно, видели таких детей, но едва ли кому-нибудь из нас могла прийти в голову чудовищная мысль, что эти дети – жертвы чужой организованной эксплуатации...

Вслед за таким эффектным началом княгиня, со свойственной ей умелостью, передала факты, сообщенные ей Антошкой о заведении Ивана Захаровича, об истязании детей, об их одежде, помещении, пище.

Для огромного большинства благотворительных дам сообщение княгини было невероятным открытием.

Все возмутились.

– Неужели, милая княгиня, такие ужасы существуют? – воскликнула одна из светских благотворительниц, молодая элегантная дама.

– Ведь это что-то чудовищное! – воскликнула другая.

– И чего смотрит полиция! – строго заметила пожилая супруга какого-то видного чиновника.

– Вы, княгиня, открываете одно из возмутительнейших явлений! – вставил, в виде

комплимента, секретарь.

Весьма довольная, что ей пришлось открыть это возмутительное явление и познакомить с ним своих коллег, княгиня продолжала:

– У меня находится одна из таких жертв – мальчик, который бежал из заведения нищих детей после того, как его истязали. Он нашел пристанище у одного сострадательного нищего, человека, когда-то принадлежавшего обществу и окончательно павшего... Этот отверженец – можете себе представить? – принял горячее участие в мальчике, кое-как одел его, обратившись за подачками к своим родственникам, и прислал его ко мне с просьбой что-нибудь сделать для него... Этот мальчик и рассказал мне все... Его история необыкновенно печальная... Он сирота... Не знал ни отца, ни матери... и «работал», как он выражается, то есть собирал милостыню для этого изверга, какого-то отставного солдата... Мальчик производит хорошее впечатление, но вообразите, в какой обстановке он рос?.. Он не знает даже своей фамилии... Только одно имя! А ему пятнадцатый год!

Открытие мальчика, «не знающего своей фамилии», вызывает общий взрыв удивления.

Снова раздаются восклицания:

- Не знает своей фамилии!
- Несчастный мальчик!
- Это дикарь какой-то!

Только женщина-врач не выражала удивления, и в глазах ее мелькала едва заметная улыбка. Ее подмывало даже объявить во всеуслышание, что в сообщенном факте нет ничего особенно удивительного, и в доказательство привести кое-какие данные о положении детей бедных хотя бы в Англии.

Но Анна Игнатьевна вспомнила, что получила место в институте благодаря княгине, и, несмотря на желание блеснуть эрудицией, дипломатически промолчала, хорошо сознавая, что омрачить это наивное удивление малосведущих дам, и в особенности княгини, было бы для них неприятно.

«Пусть себе удивляются тому, что всякому интеллигентному человеку хорошо известно! На то они и светские барыни!» – высокомерно подумала Анна Игнатьевна, питавшая в то же

время некоторое завистливое удивление к этим светским барыням за их манеры и умение одеваться.

Но еще большее впечатление, чем незнание фамилии, произвели на собрание слова княгини:

– Мало того... Этот мальчик никогда не бывал в церкви и никогда не молился... Он даже не знает «Отче наш»!

После нескольких секунд изумленного молчания несколько дам сразу заговорили о том, что надо принять меры против таких чудовищных явлений... Необходимо указать полиции. Вероятно, в Петербурге не одно такое заведение, в котором вырастают подобные дети... Что ждет их в будущем?.. Обществу «Помогай ближнему!» следует прийти им на помощь... Это его святая обязанность... Не правда ли, княгиня?

Княгиня, твердо соблюдавшая порядок, позвонила в колокольчик.

Наступило молчание.

– Я не имею повода сомневаться в правдивости показаний мальчика, – заговорила княгиня, – но во всяком случае прежде всего надо

навести справки... Если комитету будет угодно, я возьму это на себя... Разрешает комитет?

Все изъявили согласие.

Кто ж это лучше сделает, как не княгиня?

– Если сведения, сообщенные мальчиком, подтвердятся, я сама поеду просить кого следует о том, чтобы обратили внимание на эту безжалостную эксплуатацию детей... и затем доложу комитету... Занесите это в протокол, Евгений Аркадьевич!

– Я записал, княгиня...

– А я тогда скажу Петру Петровичу... Хотите, княгиня? – спросила молодая элегантная барыня.

– Отлично... Он, конечно, распорядится, чтобы этого не было.

– Конечно, он ничего и не знает о бедных детях! – промолвила пожилая супруга важного чиновника.

– Что же касается мальчика, то я предложила бы комитету поместить его в наш приют... У нас ведь есть, кажется, одна вакансия в приюте, Евгений Аркадьевич?

– Есть, княгиня...

– Угодно комитету разрешить поместить

мальчика в приют?..

Никто не имел ничего против.

– Оставлять его на попечении того лица, у которого он находится, было бы губительно для мальчика и для всей его будущности... А мальчик очень способный... Быть может, комитету угодно видеть будущего питомца и от него самого услышать его печальную эпопею?..

Это предложение было принято с большим удовольствием. Всем любопытно было первый раз в жизни взглянуть на маленького несчастного дикаря, не знающего своей фамилии и не знающего «Отче наш»!

XVII

Благодаря сердобольной молодой судомой-ке, догадавшейся предложить голодному Антошке стакан кофе с большим куском ситника, мальчик заморил червяка и, снявши полушубок, уже с меньшею подавленностью духа сидел в сторонке на кухне и снова любопытно наблюдал и за поваром и за другой прислугой, прислушиваясь к их разговорам. Довольно едкие замечания насчет княгини только подтвердили предположение Антошки, что она «занозистая» и что ее все слуги в доме боятся.

Прошел долгий час, и Антошка решился обратиться к лакею, водившему его в кабинет княгини, с вопросом:

– Позвольте узнать: долго мне еще дожидаться?

Слова эти были сказаны таким почтительным тоном, что Антошка сразу расположил к себе великолепного лакея с роскошными бакенбардами.

– Теперь, должно быть, недолго... Комитет скоро кончится! – снисходительно прогово-

рил он.

Антошка, видимо, не имел ни малейшего понятия о комитете, и лакей ему пояснил:

– Господа, значит, собрались к княгине, ну и рассуждают о таких же бедных субъектах, как ты... И твое дело обсудят как следует. Не бойся, и тебе выйдет какая-нибудь резолюция... Сиди, пока не потребуют!

Антошка, решительно не подозревавший о существовании благотворительных обществ и в течение своей воистину каторжной жизни у «дяденьки» ни разу не испытывавший их благодеяний, был порядочно таки удивлен, что господа собираются для разговоров о бедных субъектах (слово это он почему-то считал ругательным и вообще презрительным по отношению к бедным), и в особенности тем, что господа обсуждают – если только лакей не врет – и его какое-то дело.

По его мнению, это уж совершенно лишнее. Что тут обсуждать? Гораздо проще, казалось бы, богачке княгине, не спрашивая никаких советов, дать ему рубль и послать в конверте графу красненькую: «купите, мол, себе теплый воротник», и дело с концом! А то из-

за таких пустяков собираться и рассуждать, заставляя человека зря дожидаться, – это Антошка находил невероятным и «довольно даже глупым».

И он подумал, что, верно, княгиня забыла про него, а лакей врет и смеется над ним, расчесанная шельма!

«Знаю я их, подлецов. Они любят издевку!» – решил про себя Антошка, испытавший не раз во время летних экскурсий по дачам с ларьком лакейские каверзы.

Однако он не выразил на своем лице подозрения и сделал вид, что вполне поверил словам лакея.

«Пусть себе думает, что надул!»

Но когда, наконец, этот же самый лакей торопливо вошел на кухню с приказанием Антошке идти за ним и, разрешив Антошке остаться в блузе, ввел его в большую залу, Антошка, увидав сидевших за столом лиц, убедился, что лакей был прав.

«Верно, все княгини и князья!» – подумал он и, оставленный лакеем у двери, поглядывал на «княгинь» без особенного смущения и страха, имея уже случай из продолжительно-

го свидания с самой настоящей княгиней убедиться, что страшного в них решительно ничего нет. Это не то что «дяденька», «рыжая ведьма» или озверевший «фараон»!

Он заметил, что княгиня что-то сказала щуплому барину, сидевшему около нее, и тот направился к нему.

«Видно, объявка будет!»

Но вместо того «щуплый», как обозначил Антошка молодого секретаря, довольно осторожно взял своими двумя белыми и длинными пальцами за рукав Антошкиной блузы и, проговорив: «Идем, мальчик», не без некоторой торжественности провел Антошку через залу и поставил его у кресла председательницы, лицом к столу – так, что все господа члены комитета общества «Помогай ближнему!» могли отлично рассмотреть такую диковину, как мальчик, прокусивший ногу своего мучителя и – что еще необыкновеннее! – не знающий ни своей фамилии, ни «Отче наш».

Зрители, устремившие любопытные взоры на Антошку, были, по-видимому, несколько разочарованы в своих ожиданиях увидеть перед собою маленького дикаря, грязного, с

всклокоченными волосами, или что-нибудь в подобном роде.

Вместо того перед ними мальчик как мальчик, даже довольно приличный и чистый и совсем не имеющий того забитого вида, который, казалось бы, должен иметь после всех своих злоключений. Напротив! В этой маленькой, тщедушной фигурке и особенно в выражении его глаз было что-то слишком смелое и вызывающее для мальчика в его положении и совсем непривычное в клиентах, с которыми благотворительные дамы имели дело.

Однако они нашли (о чем некоторые и перекинулись французскими фразами), что мальчик недурен собою, но только, бедняжка, бледен, и, хотя разочарованные, все-таки не отказали ему в некотором сочувственном сожалении.

Несколько иначе отнеслись к нему мужчины: казначей, господин Пушников, подумал, что Антошка должен быть продувная бестия и что, следовательно, из него со временем может выйти человек, а секретарь Евгений Аркадьевич был даже несколько шокирован и

не совсем, по его мнению, почтительною позой Антошки и недостаточным, так сказать, проникновением чувством благоговения и благодарности, которое должен бы испытывать этот нищенка и бродяжка, имея счастье находиться перед таким собранием.

Во всяком случае, Антошка не оправдал ожиданий, и княгиня это тотчас же заметила.

И, чтобы возбудить интерес к открытому ею интересному мальчику, она сказала ему:

– Ну, мальчик, расскажи нам, что ты терпел у своего Ивана Захаровича и как ты от него убежал... Рассказывай, как знаешь... Не бойся... Здесь все твои доброжелатели...

Антошка удивился, что это интересуется княгиню настолько, что она во второй раз заставляет его рассказывать, да еще не с глаза на глаз, а при других.

Однако делать было нечего. Антошка откашлялся и повторил свой рассказ с некоторыми, впрочем, сокращениями.

Тем не менее успех Антошки как лектора был несомненный, и когда, вслед за сообщением Антошки, заседание было закрыто, то многие дамы перед уходом подходили к Ан-

тошке и выражали ему в более или менее теплых словах участие. Его называли «бедным мальчиком», его трепали по щеке лайковыми и шведскими перчатками. Его утешали, что теперь положение его совсем изменится и он сделается вполне хорошим мальчиком и будет знать не только «Отче наш», но и другие молитвы и вполне оправдает заботы о нем общества «Помогай ближнему!».

Антошка принимал все эти знаки сочувствия довольно равнодушно и, к ужасу секретаря Евгения Аркадьевича, даже не благодарил, а только хлопал глазами, очевидно, не вполне понимая, в чем дело и каким образом изменится его положение, если ни одна из этих «княгинь», подходивших к нему и находивших, что он бедный мальчик, не дала ему ни гривенника. «А дай каждая из них по гривеннику – было бы ровно девяносто копеек!» – быстро решил в уме своем Антошка математическую задачу.

Двух мужчин он вовсе не принял в расчет при этой выкладке, так как сразу почувствовал не особенно дружелюбное отношение их к себе. Особенно этот «щуплый» брезгливо по-

смастривал на него своими стеклянными голубыми глазами... От этих двух господ нечего было и ожидать хотя бы пятака – и черт с ними!..

Но барыни, кажется, могли бы дать по гривеннику. Небось не обеднели бы. А то трепали по щеке и ушли себе, а еще княгини!..

«Нечего сказать: довольно скупые княгини!» – подумал Антошка, оставаясь наедине с княгиней Моравской в большой зале и поглядывая, как она писала какое-то письмо.

«Верно, графу и, верно, сейчас вложит бумажку», – решил про себя Антошка.

Но его подвижное выразительное лицо, только что оживленное надеждой, что все его сегодняшние мытарства кончатся, наконец, посылкой денег графу, омрачилось, когда княгиня никакой бумажки в конверт не положила и, вручая его Антошке, проговорила:

– Вот отдай эту записку твоему «графу»... Пусть завтра ровно к часу пришлет тебя с твоим документом в приют... Я в это время сама там буду... Адрес написан... Васильевский остров, Десятая линия, дом пятнадцать. Не забудешь?

Антошка был удручен, прозревая что-то очень неприятное, ввиду того что его требовали с документом.

И он спросил упавшим голосом:

– Осмелюсь спросить, ваше сиятельство, зачем мне идти в приют?

– Как зачем? Я тебя определяю в наш приют. Ты знаешь, что такое приют, мальчик?

– То-то не знаю, ваше сиятельство.

– Это – заведение для детей. Ты будешь там жить. Тебя будут одевать, кормить и учить, и года через два-три ты выйдешь оттуда порядочным человеком, и о тебе позаботятся... Тебе приищут место... Ну что, доволен, мальчик?

Но вместо выражения радости Антошка стал мрачен как туча и довольно решительно сказал:

– Я в приют не согласен, ваше сиятельство!

Княгиня была изумлена. И красивые ее глаза сделались совсем строгими, когда она спросила:

– Почему же ты не согласен?

– Я не уйду от графа!

– Глупый мальчик! Ты не понимаешь сам,

что говоришь... Тебе непременно надо уйти от твоего «графа».

– Очень даже хорошо понимаю, ваше сиятельство! – вызываяще возразил Антошка, чувствуя к княгине неприязнь за то, что она хочет разлучить его с единственным человеком на свете, которого он безгранично любит.

Но княгиня, искренно желавшая вырвать мальчика из «когтей порока», в которых он, несомненно, погрознет, оставаясь при «графе», не обратила внимания на тон Антошки и проговорила несколько докторальным и, по ее мнению, убедительным тоном:

– Слушай, мальчик, что я тебе скажу... Слушай и вникни. Твой «граф» сам нищий... Он сам просит милостыню на улицах... Так как же он будет тебя содержать? Это во-первых...

Но Антошка снова не дал княгине продолжать и с живостью произнес:

– Я достану себе место, ваше сиятельство... Только вот выучусь читать да писать... Я в газетчики пойду, а, уж как угодно, графа не оставляю, разве он меня прогонит... Я очень вам благодарен, ваше сиятельство, за этот самый приют... но от графа не уйду... При нем

буду... И граф этого желают... И до самой его смерти я при их останусь! – возбужденно и горячо заключил Антошка.

Не без некоторого удивления внимала княгиня этим словам, недоумевая такой сильной привязанности мальчика к павшему человеку. И чем он мог так привязать к себе?

– Твоя признательность очень похвальна и делает тебе честь, мальчик, – заговорила княгиня, даря Антошку благосклонным взглядом, – благодарные люди так редки... но ты еще слишком мал, чтобы понимать людей и понимать свою пользу... В приюте ты научишься всему хорошему, а оставаясь у «графа», ты пропадешь... Ты можешь сделаться порочным и скверным человеком, пьяницей и вором, и попадешь в тюрьму... Вся жизнь твоя погибнет... Твой «граф» ничему хорошему не научит... Он будет посылать тебя нищенствовать, как и сам, и никакого тебе места не дадут... Он сам, этот твой «граф», пропащий, скверный человек... Берегись его!

Глаза Антошки, возмущенного до глубины души такою клеветой на «графа», уже сверкали злым огоньком.

– Граф-то скверный? – воскликнул Антошка. – Ну уж, извините, ваше сиятельство, а граф, может быть, получше других генералов да важных князей, даром что бедны!.. И вовсе не правда, что граф посылает меня нищенствовать... Я сам предлагал работать на их, так он запретил! «Не смей, говорит, Антошка. Тебе, говорит, надо выучиться и стать человеком!» Вот он какой, граф! Да такого другого господина не сыскать по доброте, а не то что: «дурному научит». Он дурному не научит, не извольте беспокоиться, ваше сиятельство... Он добрый, не то что другие... А если на старости лет да больные выходят на работу, так что ж из этого? У них денег нет, а кормиться надо... По-настоящему, если бы богатые сродственники его были добрые, они бы помогли графу, а не то что его ругать... А то сами богачи, на золотых тарелках кушают, а не могут сродственнику нового пальто справить... Подыхай, мол! Это небось благородно, ваше сиятельство?..

Антошка не помнил себя от охватившего его негодования, и его речь текла неудержимым страстным потоком.

Изумленная княгиня не верила своим ушам.

Такие возмутительно дерзкие слова у этого мальчика?! Боже, как испорчен этот несчастный!

И княгиня смерила Антошку с головы до ног презрительно строгим взглядом и нервно позвонила в колокольчик.

Явился лакей с великолепными бакенбардами.

– Уведите этого дерзкого мальчика! – приказала княгиня.

Лакей поспешил вывести Антошку.

– Что, братец, видно, дурная резолюция тебе вышла? – не без участия спросил лакей, когда Антошка торопливо надевал полушубок на кухне, видимо спеша поскорей удирать, а то чего доброго еще его задержат и силком отправят в этот ставший ненавистным ему приют.

– Тоже: в приют. Так я и пошел в ее приют! – взволнованно отвечал Антошка, направляясь к дверям.

– Так что же ты дерзничал, коли тебе вышла такая резолюция? В приюте хорошо...

Кормят, поят вашего брата...

– Очень вам благодарны за ваш приют... Мы и без вашего приюта найдем место!.. Тоже княгиня, нечего сказать! – довольно насмешливо проговорил Антошка и, юркнув за двери, со всех ног пустился по лестнице.

Несколько взволнованная княгиня скорбно вздохнула, оставшись одна. Господи! Какие вырастают дети в этой ужасной нищете и в этом невежестве! И какая дерзость у этого мальчика! Какие мысли?! Это, верно, все этот несчастный кузен его научил, вместо того чтобы выучить хоть какой-нибудь молитве.

Но княгиня недаром была энергичная благотворительница.

Тем с большим упорством намеревалась она теперь спасти Антошку. И в голове своей решила непременно отобрать Антошку от «графа», если только он не пришлет мальчика добровольно в приют...

На всех парах летел Антошка домой, и когда, наконец, вернулся и вошел в комнату «графа», то, торопясь передать свои впечатления, возбужденно проговорил:

– Однако, граф... княгиня. Уж вы извините,

хоть она и ваша сродственница, а прямо сказать: скаредная! Держала целое утро и хоть бы велела накормить... И ни копейки не дала... И все там они, разные княгини... Ни грошика! У них комитет был, и обо мне тоже рассуждали... И допрашивали... Я им два раза рассказывал, сперва ей, княгине, а потом им всем, как от дьявола «дяденьки» убежал... А княгиня-то, как бы вы полагали, чем она меня ошарашила? В приют, говорит... С вами, граф, мол, нельзя жить... Станешь вором и пьяницей... Ну и отчекрыжил же я княгиню, будьте спокойны!.. Сказал, что от вас не пойду... Ведь вы не отдадите меня в приют к ним... Не отдадите, граф?..

– Да ты успокойся, Антошка, и толком все расскажи, а то как мельница мелешь... А прежде всего давай обедать... И то я тебя заждался... Небось есть хочешь?

Хозяйка подала обед, и Антошка, утолив голод, стал рассказывать подробно о своем визите к княгине.

Во время рассказа Антошки «граф» то смеялся, то хмурил брови.

XVIII

Окончив бессвязный свой рассказ. Антошка спохватился, что не подал «графу» записки княгини, и, вынув из полушубка смятый длинный конвертик с золотой коронкой и факсимиле княгини на той стороне, где конверт заклеивается, – подал его со словами:

– Вот, граф, прочтите, что она тут еще набрехала, ваша княгиня...

«Граф» внимательно прочел записку раз, прочел другой, положил ее на стол и, к удивлению Антошки, задумался, точно эта записка произвела на него большее впечатление, чем Антошкин рассказ.

В ней княгиня в самой деликатной форме сообщала то, что более откровенно выразила Антошке на словах относительно неудобства пребывания у «графа». Выражая уверенность, что он сам понимает это и не захочет подвергать несчастного мальчика «всем ужасным случайностям нищеты и порока», княгиня надеялась, что «граф» обрадуется, что она берет мальчика в приют, и обещала впоследствии лично позаботиться об его судьбе.

Предложение, во всяком случае, было заманчивое. По крайней мере на первые годы мальчик будет во всем обеспечен и получит какое-нибудь образование. Потом ему легче найти занятия, да еще при покровительстве княгини.

А при всем горячем желании, что может сделать для мальчика он, всеми отверженный нищий и вдобавок больной? Не понадеялся ли слишком он на свои силы и на чужие подачки, самонадеянно рассчитывая устроить Антошку, не отпуская его от себя?.. Все эти дни грудь нет-нет да и занает. Что если он заболит настолько, что не в состоянии будет выходить по вечерам на работу? Что будет тогда с Антошкой? Не права ли кузина со своими «случайностями нищеты и порока», и вправе ли он отказываться от предложения только ради того, что ему хочется иметь на склоне своей, вероятно недолгой уже, жизни любимое и любящее существо, которое озарило светом горемычное его существование и словно бы придало ему новый смысл?

Такие мысли бродили в голове «графа» и вызывали душевную борьбу. И брови его хму-

рились, и в лице было что-то угрюмое и страдальческое.

Ужели судьба бросила ему этот луч света, согрела его сердце привязанностью к такому же брошенному существу, как и он сам, чтобы немедленно же отнять его и оставить снова его одного как перст на свете с проклятиями прошлой жизни, с озлоблением на людей и с вечным мраком на душе? А он так привязался к Антошке, и этот мальчик так любит его!..

И «граф» невольно вспомнил рассказ мальчика о том, как он «отчекрыжил» из-за него княгиню, и со скорбною нежностью посмотрел на Антошку.

А Антошка, притихший и встревоженный, не спускал глаз с «графа», недоумевая, отчего это он вдруг сделался такой печальный.

Что могло быть в этой записке?

Несколько минут прошло в молчании. Наконец, «граф» проговорил с решительным видом человека, принявшего героическое решение:

– А знаешь, что я тебе скажу, Антошка?

– Что, граф? – с тревогой в голосе стреми-

тельно перебил Антошка.

– Положим, и княгиня и все эти дамы и мужчины, что заседали в комитете и разглядывали тебя, как редкость, порядочные шуты гороховые... Положим... Но все-таки в приюте вовсе не так скверно, как ты думаешь... Это совсем не то, что у «дяденьки»...

При этих словах Антошка так-таки и обомлел.

Не находя слов, он растерянно вытаращил испуганные глаза и застыл на табурете в позе отчаяния.

– Право, братец, недурно, – продолжал «граф», стараясь в шутливом тоне голоса скрыть свое волнение и отводя взгляд от побледневшего лица мальчика, – и квартира, и одежда, и пища – одним словом, все как следует... ни о чем не заботься... Встал, оделся: – пожалуйста чай пить... А там обед, вечером ужин... И обучат тебя всему – только была бы охота... Выйдешь из приюта, всякую штуку будешь знать: и грамматику, и арифметику, и географию... всему выучат... А я буду заходить к тебе в приют... Верно, пускают?.. Наверное даже пускают... Два-три года, братец, скоро

пройдут... А потом ты найдешь себе место, и опять мы вместе будем жить, если я буду жив... Право, ведь недурно, Антошка? Раскинь-ка умом!

Но Антошка молчал, подавленный и грустный. Слезы стояли в его глазах, и на сердце была беспредельная горечь.

«Один близкий человек у него на свете, и тот его гонит от себя?»

– Граф, – проговорил, наконец, он дрогнувшим голосом, – не гоните меня... Я... я ничего не буду вам стоить... Я сейчас же найду работу. Ей-богу, найду!

– Глупый! Разве я тебя гоню? Я для твоей же пользы хочу, чтобы ты был в приюте! – воскликнул «граф», сам взволнованный этим отчаянием мальчика и его словами.

– Но вы раньше говорили, что я буду при вас.

– Говорил и очень хотел бы не расставаться с тобой, а не то что гнать тебя, но пойми ты, голубчик мой, я вот болею, могу слечь в постель, мало ли что может случиться...

– А я буду при вас... Буду ходить за вами! – с порывистою страстностью воскликнул Ан-

тошка. – Разве я оставлю вас одного, когда вас все бросили? Граф! Добренький граф! Не отдавайте меня к княгиням, в приют... Ведь вы один на свете у меня... А я сам выучусь всему, что нужно... А в приют я не хочу... не хочу... Что я там без вас буду делать?.. И никто не смеет взять меня в приют... Я убегу оттуда... Граф, граф! Что ж вы молчите?..

Антошка не мог продолжать и зарыдал.

Слезы катились по изможденным щекам «графа», радостные, признательные слезы, и вздрагивавший голос его звучал необыкновенною нежностью, когда он говорил:

– Ну, ну... полно, Антошка... Не реви как белуга... Не хочешь в приют – оставайся у меня... Как-нибудь да проживем... И ты станешь человеком, добрый, хороший мой мальчик... Не будем больше говорить о приюте. Ну его к черту!

И «граф» нежно погладил Антошкину голову.

Беспрдельно счастливый и благодарный, Антошка припал к его руке.

С следующего же дня «граф» каждое утро занимался с Антошкой, заставляя его читать

и писать, и обучал его арифметике, к которой, впрочем, Антошка был достаточно подготовлен недавнею своею торговою деятельностью. Антошка лез, что называется, из кожи и своею понятливостью и успехами приводил в изумление учителя. Он все еще не совсем поправился и мог не выходить по вечерам на работу благодаря деньгам, присланным племянницей. Таким образом, «граф» и Антошка проводили вместе вечера, во время которых «граф», рассказывая своему внимательному слушателю различные эпизоды своей бурной жизни с критическими к ним комментариями и оценивая явления и людей, давал Антошке уроки практической философии и этики. И, право, несмотря на греховное прошлое и весьма горемычное настоящее «графа», Антошка в этих уроках отверженца и пропойцы почерпнул немало хорошего и назидательного, что запало ему на всю жизнь.

Теперь благодаря взаимной привязанности этих двух несчастных существ крошечная каморка, в которой они жили, казалась им милой, уютной и точно просветлевшей, и сами они чувствовали себя не такими одиноки-

ми и заброшенными, как прежде, и были полны надежд на лучшее будущее.

Так прошло несколько счастливых дней, и этой нищенской идиллии наступил конец.

Последняя бумажка была отдана хозяйке на расходы, и «граф», несмотря на собачий холод, решил вечером снова выйти на работу.

Антошка со страхом глядел на легкое пальтецо «графа» и заикнулся было предложить свои услуги «походить около вокзала», но «граф» так сердито замахал головой, что Антошка не смел продолжать.

XIX

Будь княгиня Моравская более счастлива в личной своей жизни и не «неси она креста», бедному Антошке едва ли грозила опасность быть облагодетельствованным помимо его желания, так как княгиня не отдалась бы всей душой делу благотворительности и не находила бы времени действовать столь решительно, энергично и неуклонно.

Искренно возмущенная и рассказом Антошки о несчастных детях и искренно желавшая не дать Антошке завязнуть в «когтях по-

рока», княгиня на другой же день после заседания комитета общества «Помогай ближнему!», окончив свой долгий туалет, перед тем что идти на прогулку, по обыкновению, справилась в своей записной книжке о программе дня.

В числе многих отметок значились и следующие: «навести справки об ужасном заведении несчастных детей» и «узнать в приюте: явился ли мальчик от Опольева».

Мысль о спасении Антошки крепко засела в голову княгини.

Несмотря на не совсем благонравное его поведение в конце визита, Антошка понравился ей. Понравились княгине и его умное, выразительное лицо и его бойкие ответы, а эта горячая, страстная защита приютившего его «графа» просто-таки восхитила ее, и она решила во что бы то ни стало привести в исполнение комитетское постановление, если мальчик не явится в приют.

«В таком случае уже не может быть сомнения в том, что этот пропойца взял мальчика к себе, чтобы его эксплуатировать!» – рассуждала княгиня и прошептала:

– Бедный мальчик!

Ровно в час княгиня была уже в приюте. Там дожидался ее секретарь Евгений Аркадьевич, вызванный телеграммою, чтобы из приюта сопровождать княгине. Ехать одной в заведение Ивана Захаровича она не решалась.

– Мальчика нет? – спросила княгиня, входя в приют.

– Нет, княгиня! – отвечал Евгений Аркадьевич и прибавил: – Я думаю, что он и не явится...

– Почему вы так думаете?

– Мне кажется, что он предпочтет нищенствовать... Слишком уж он испорчен... Эта его манера себя держать...

– Я с вами не согласна, Евгений Аркадьевич! – решительно и властно перебила княгиня, вообще не любившая слушать чужие мнения, если они не сходились с ее собственными. – Вы слишком поспешны в приговорах, Евгений Аркадьевич.

Несколько смущенный, что попал впросак, Евгений Аркадьевич поспешил оговориться, что он позволил себе судить по первому впе-

чатлению. Разумеется, княгиня, говорившая с мальчиком, имеет более верные суждения.

– Ну, покажите мне приют, Римма Михайловна! – обратилась княгиня к пожилой, одетой во все черное, худой и облизанной начальнице приюта, которая всегда при посещении строгой председательницы замирала в почтительном трепете подневольного существа, боявшегося лишиться куска хлеба.

Княгиня обошла приют. Все найдено было в порядке. Четырнадцать приютских под гребенку остриженных мальчиков, похожих в своих форменных черных курточках на маленьких арестантов, были выстроены в зале и на приветствие княгини «Здравствуйте, дети!» – ответили с таким оглушительным согласием: «Здравия желаем, ваше сиятельство!» – что княгиня даже слегка вздрогнула.

Она прошла по фронту, потрепала по щекам самых маленьких, спросила о здоровье двух худых, бледнолицых, с синевой под глазами, подростков и, пожелав всем хорошо учиться и хорошо вести себя, простилась с детьми, сопровождаемая тем же оглушительным ревом четырнадцати голосов. «Счастли-

во оставаться, ваше сиятельство!»

Княгиня была не в духе. Этот Антошка, не явившийся в приют, положительно беспокоил ее, и Евгений Аркадьевич напрасно старался занять княгиню, сидя около нее в карете. Давно уж он ухаживал за пышной, красивой княгиней с почтительностью втайне влюбленного, не смеющего, разумеется, обнаружить своих чувств, но княгиня как будто и не замечала этого.

И теперь Евгений Аркадьевич, посматривая сбоку на княгиню, решительно приходил в недоумение «Эта бессовестно холодная женщина положительно недоступна чувствам!» – подумал Евгений Аркадьевич, тщетно стараясь обратить на себя какое-либо внимание княгини Марьи Николаевны, расположение которой было бы крайне выгодно, по мнению молодого человека, для его карьеры... «Она влиятельная, со связями... Положительно дурацкий темперамент!» – мысленно проговорил он, взглядывая на строгое, бесстрастное лицо молодой женщины.

Наконец карета остановилась у ворот одного из невзрачных домов в дальней улице

Песков. Городовой выпучил глаза с почти-
тельным удивлением на подъехавших.

Евгений Аркадьевич выскочил из кареты
и пошел отыскивать дворника.

Через несколько минут княгиня вместе с
секретарем поднималась по отвратительной
лестнице в квартиру Ивана Захаровича и ча-
сто подносила к носу надушенный платок.
Старший дворник следовал за ними по требо-
ванию Евгения Аркадьевича, который сооб-
щил дворнику о цели посещения такой важ-
ной особы, как княгиня Моравская. Признать-
ся, Евгений Аркадьевич немножко трусил –
мало ли на какой можно нарваться скандал! –
и потому присутствие дворника казалось ему
необходимо.

В эту минуту по лестнице быстро взбежала
маленькая Анютка, закутанная в платке, и
при виде княгини растерялась.

– Ты кто такая, девочка? – остановилась
княгиня.

– Анютка...

– Куда идешь?..

– К дяденьке, вот сюда, – указала она на
дверь.

– А где ты была?

– Милостыньку собирала...

Княгиня значительно переглянулась с секретарем. Улика была налицо.

– Как же ты, дворник, говорил мне, что не знаешь, что дети собирают милостыню? – строго заметил Евгений Аркадьевич.

– Почему же я могу знать, что делают жильцы! – отвечал дворник.

Позвонили. Двери отворила супруга Ивана Захаровича. Его самого не было дома.

При виде посетителей и старшего дворника молодая женщина, видимо, струсилась и не знала, как ей быть: пускать ли непрошенных гостей, или нет. Но старший дворник, мигнув ей глазом, проговорил:

– Ее сиятельство желают узнать насчет детей, что живут у вас. Дозвольте осмотреть квартиру...

Княгиня вошла, сопровождаемая Евгением Аркадьевичем и дворником. Анютка шмыгнула вслед за ними.

По приказанию княгини была отперта маленькая комнатка, где помещались племянники и племянницы Ивана Захаровича, и

княгиня просто ахнула – до того ее поразила грязь этого помещения. Никого из обитателей не было дома. Все были на работе.

– Сколько тут помещается детей? – спросила княгиня.

– Семь человек...

– Чьи это дети?

– Сродственники мужа.

– Не лгите... Я все знаю... Мне рассказал один мальчик, убежавший от вас... Как вам с мужем не стыдно заниматься таким постыдным делом и истязать детей?

Дворник делал какие-то таинственные знаки «рыжей ведьме».

Та бросилась в ноги.

– Ваше сиятельство... по бедности... Самим кормиться нечем...

– Где эта девочка... Анютка, которую я встретила?..

Дворник привел Анютку. Худенькая девочка с большими черными глазами дрожала всем телом.

– Я беру ее с собой... Ее бумаги сегодня же доставить ко мне! – обратилась она к дворнику.

Евгений Аркадьевич поспешил сообщить адрес.

Никто не возражал. Подобное самоуправство нисколько не удивило дворника.

Княгиня на минуту задумалась и продолжала тем же решительным и властным тоном, обращаясь к дворнику:

– Завтра к часу дня приведите ко мне всех детей, принесите их документы и сообщите: кто их родители и где они живут.

– Слушаю-с, ваше сиятельство!

– Ну, едем со мной, девочка! – сказала княгиня, обращаясь к Анютке.

Дворник повел девочку. Ее, недоумевающую и испуганную, посадили в карету.

– А вам, извините, места нет, Евгений Аркадьевич! – промолвила княгиня.

– Не беспокойтесь, княгиня, я поеду на извозчике.

И, прощаясь с ней, прибавил:

– Какой для вас счастливый день, княгиня! И как будут благословлять вас все эти спасенные дети!

– Это ужасно... ужасно! – возбужденно говорила княгиня, и красивое лицо ее сияло

от внутреннего довольства. – Мы, право, сделали сегодня воистину доброе дело, Евгений Аркадьевич, – прибавила она с чувством. – Завтра к часу, прошу вас, будьте у меня! – прибавила княгиня, протягивая ему руку. – Прикажете кучеру ехать домой!

Княгиня ехала вполне удовлетворенная сегодняшним днем и предстоящими хлопотами по устройству всех этих детей. Ее деятельной натуре было дела на несколько дней, и это ее радовало. Завтра же она увидится с градоначальником и расскажет все, что видела.

– Ужасно... ужасно! – повторяла княгиня.

Завтра же она поговорит и о несчастном мальчике. Она попросит вытребовать Антошку от Опольева и водворить в приюте.

Поглощенная этими мыслями, полная разных добрых намерений, княгиня словно и забыла об Анютке, которая испуганно прижалась в своих лохмотьях в угол кареты и тихо, совсем тихо всхлипывала.

Ей было страшно. Зачем ее взяли? Куда везет эта красивая, важная дама в богатой шубе?

Княгиня между тем вспомнила о своей

спутнице и взглянула на нее.

– Ты что же плачешь, девочка? Не бойся! Тебя больше обижать не будут... Никто не обидит... Тебе хорошо будет! – ласково говорила княгиня, любуясь миловидным личиком девочки и особенно ее большими черными испуганными глазами, осененными густыми ресницами.

Ласковый голос княгини несколько успокоил Анютку.

– Теперь не боишься? – продолжала княгиня.

– Не бо-юсь! – протянула Анютка, вытирая грязным кулачком слезы.

И вслед за тем пугливо спросила:

– А куда вы везете меня?

– К себе пока. Тебя накормят, напоят чаем... Тебя вымоют, причешут и оденут в хорошенькое платье. Хочешь?

– Хочу! – ответила девочка.

И ее личико просветлело.

Несколько минут княгиня смотрела на это крошечное создание в каком-то раздумье, точно о чем-то вспоминая. И черты ее строгого, холодного лица смягчились...

Обыкновенно дети, которых спасала и призывала княгиня Марья Николаевна по долгу благотворительницы, не возбуждали в ней особенно теплых чувств. Она никогда их не ласкала, не согревала нежным словом.

Но в эту минуту эта маленькая Анютка почему-то возбудила в ней не одну только жалость, а что-то другое, более нежное и сильное, неожиданно для нее самой охватившее ее сердце.

И эта уравновешенная, сдержанная женщина, от которой веяло всегда холодом, вдруг наклонилась к грязной девочке и стала целовать ее с страстной порывистостью внезапно пробудившегося материнского инстинкта.

Анютка широко раскрыла глаза, более пораженная, чем тронутая этою неожиданною ласкою.

А в глазах княгини блеснули слезы. Ее красивое, свежее лицо было задумчиво и грустно. Голос ее прозвучал необычною нежностью, когда она спросила Анютку:

– Тебе холодно, девочка?

И, не дожидаясь ответа, она закрыла Анютку полой своей роскошной ротонды, подби-

той черно-бурыми лисицами.

Прошло несколько минут, и этот порыв чувства как будто неприятно удивил княгиню своею неожиданностью.

«Нервы», – подумала она, недовольно пожимая плечами.

И княгиня, с тонким чутьем эгоистической натуры оберегавшая себя от каких бы то ни было волнений, могущих нарушить спокойствие ее великолепной особы, решила и теперь, что давать поблажки нервам не следует.

Когда карета подъехала к подъезду ее особняка на Сергиевской, княгиня уже справилась с собою, больше Анютку не целовала и вышла из кареты тою же холодною, строгою и безукоризненною княгиней, какою ее все привыкли видеть.

Прежнее решение насчет Анютки было отменено. Нечего держать ее несколько дней в доме, как княгиня прежде хотела.

И она, поднявшись к себе, велела горничной накормить Анютку и немедленно отвезти ее в приют для девочек общества «Помогай ближнему!».

После этого она приняла валерьяновых капель и пошла переодеваться, чтоб ехать с визитами.

Иван Захарович вернулся домой только к вечеру и был порядочно пьян. Дети, увидевшие «дяденьку», предчувствовали, что сдача выручек не обойдется сегодня без ремня, и испуганно притаились в своей комнате.

Весь хмель сразу выскочил у Ивана Захаровича из головы, когда достойная его супруга сообщила ему о посещении княгини и об увозе Анютки, и он совсем упал духом, когда старший дворник отобрал от него все детские документы и объявил, что на следующий день отведет всех его питомцев к княгине.

Надо было спасти собственную шкуру, и Иван Захарович после беседы с дворником на следующее же утро имел конфиденциальное совещание с письмоводителем участка в трактире.

Результатом всех этих конференций было то, что Иван Захарович к вечеру того же дня съехал с квартиры и был отмечен выбывшим

за город.

Таким образом, когда дня через три после посещения княгини заведения Ивана Захаровича в участке было получено строжайшее предписание о производстве немедленного дознания, – Ивана Захаровича не оказалось, и розыски его в городе не увенчались успехом.

Он уже был в Москве и намеревался там заняться другой профессией – открыть питейное заведение.

Супруга его осталась в Петербурге, чтобы распродать вещи, а затем приехать к мужу...

Но Иван Захарович напрасно писал своей Машеньке умоляющие письма. Она не ехала к нему.

В этот вечер «граф», несмотря на дьявольский холод, не очень-то располагающий людей к благотворительности, «работал» довольно недурно.

Какой-то студент, к которому «граф» обратился с просьбой «ссудить его гривенником», взглянув при свете фонаря на страшно изможденное лицо «графа» с лихорадочно блестящими глазами, как-то торопливо опустил руку в карман своего теплого пальто и, кладя в руку «графа» несколько серебряных монеток, участливо проговорил:

– Вы в больницу бы пошли...

– Вы полагаете, молодой человек? Очень благодарен за помощь и за совет. Очень!..

И, приложившись к цилиндру, «граф» побрел далее.

«В самом деле, этот студент, пожалуй, и прав!» – горько усмехнулся он, чувствуя, как холод прохватывает его всего, как ноет грудь и ломит все тело.

«Неужто машина окончательно испорчена?!» – с тоскою думал он и, пересиливая

боль, продолжал свой путь, озирая зорким взглядом проходящих.

– Madame! Quelques sous, s'll vous plait? [12]

– произнес он, нагоняя какую-то даму.

И та, взглянув на «графа», торопливо вынула из портмоне двугривенный и подала ему.

«Положительно, вид мой внушает сегодня сочувствие... Должно быть, я похож на умирающего... Если б умирающие могли ходить по улицам – они собирали бы себе на приличные похороны!» – размышлял «граф» в каком-то угрюмом озлоблении.

Через два часа прогулки на морозе в костюме, который согревал очень мало, «граф» имел полтора рубля и поспешил домой.

Продрогший и посиневший от холода, чувствуя себя очень скверно, он вошел в свою комнатку и, кивнув Антошке, снял с себя пальто, разделся и лег на постель.

– Вы нездоровы, граф? – тревожно спрашивал Антошка.

– Нет, ничего... Прозяб немного... За ночь все пройдет... Накрой-ка меня, Антошка, моим пальто... Вот так, хорошо...

– Сейчас я самовар подам... Чаем согрее-

тесь...

Ни чай, ни несколько стаканов горячей ма-
лины, предложенной Анисьей Ивановной, ни
полушубок, которым Антошка заботливо на-
крыл «графа», не согревали иззябшего тела.
«Графа» жестоко трясло в ознобе.

Озабоченный Антошка выбежал к Анисье
Ивановне и сказал:

– Страх как трясет графа, Анисья Иванов-
на... Нет ли у вас, чем бы накрыть его.

Анисья Ивановна предложила свою шу-
бейку и промолвила:

– Простудился наш Александр Иванович...
Теперь его лихорадка и бьет...

– А она пройдет, эта самая лихорадка? – ис-
пуганно спрашивал Антошка.

– Как бог даст... Больной он... Ишь ведь вы-
шел в какую погоду.

– А я, Анисья Ивановна, еще печку стоп-
лю... Можно?

– Топи, Антошка.

– А ежели завтра графу не станет лучше,
надо бы за доктором... как вы думаете?

– То-то, лучше бы за доктором...

– Дорого поди стоит?

– Ничего не стоит... Тут недалеко барышня-докторша квартирует... казенная, значит... от города... Завтра сбегашь за ней, Антошка... Она раз лечила меня... Славная такая, даром что из жиждовок, – прибавила она.

Антошка вернулся в комнату «графа» несколько успокоенный. Он еще накрыл «графа» и не пожалел дров, накладывая печку.

К ночи озноб прошел, и все тело «графа» пылало.

– Согрелись, граф? – обрадовался Антошка, заметивший, что «граф» сбрасывает с себя все, чем был накрыт.

– Согрелся, Антошка... Слишком даже согрелся! – промолвил, тяжело дыша, «граф» и улыбнулся. – А ты чего не спишь?.. Ложись спать, Антошка... Только принеси холодной воды... Пить хочется...

Антошка сбегал за водой и присел на табуретке около «графа».

«Граф» с трудом приподнялся и жадно отпил воды.

Только теперь, при слабом свете свечки, Антошка разглядел осунувшееся лицо «графа» и его страдальческое выражение.

– Граф! Где же у вас болит? – спросил он испуганным голосом. – Верно, очень болит?

– Порядочно... Грудь болит, и спина болит... А ты спи, Антошка. Завтра мне лучше будет... Меня, брат, не скоро проберешь... Мы, Опольевы, живучие... Спи, добрый мой мальчик... И я засну...

Антошка лег на свою кровать, но заснуть не мог, прислушиваясь к прерывистому дыханию «графа». Сухой резкий кашель заставлял его вскакивать с постели и подходить к больному.

«Граф», казалось, не узнавал Антошки, хотя и глядел на него блестящими глазами. Он по временам стонал, схватываясь за грудь, и просил пить.

Антошка подавал «графу» пить и испуганно глядел на него. Он никогда не видал близко больных, и ему казалось, что «граф» непременно помрет... И слезы текли по его щекам...

– Ты что ж не спишь, Антошка? И чего плачешь, мой голубчик?.. Не беспокойся... Спи... спи... Еще как мы с тобой заживем... Отлично заживем... Уж я больше не буду ходить на работу! – возбужденно, в полубреду говорил

«граф». – Не буду. Совершенно достаточно... Quelques sous, s'il vous plait... И так всю жизнь... И умирать не желаю с тех пор, как ты... со мной... А ты не плачь... Я тебя в приют не отдам... Княгиня останется с носом... Ох, как болит грудь... Ах, как жарко... Пить, пить...

Антошка не отходил весь остаток ночи от графа, и когда в окно заглянул серенький свет петербургского утра, «граф» увидал Антошку, спавшего на полу у его кровати.

Вошедшая вскоре Анисья Ивановна разбудила Антошку.

– Ночью ухаживал за мной! – проговорил растроганный «граф».

– Ему что – отоспится днем! – промолвила Анисья Ивановна. – Ну, а ваше здоровье как, Александр Иваныч?..

– Отлежусь, Анисья Ивановна!..

– Малинки не дать ли?

– Ничего не хочется... Вот деньги, – проговорил «граф», указывая на стол, – мальчика накормите...

– И так накормлю... Бог с вами, Александр Иваныч... Теперь вам самим понадобится, а

после сочтемся...

– Ну, спасибо... Добрая вы...

«Граф» снова погрузился в дремоту. От него так и пышало жаром.

Анисья Ивановна вызвала Антошку и приказала ему идти к докторше.

Через четверть часа Антошка уже вбегал в третий этаж и вошел в отворенную дверь квартиры думского врача. В прихожей дожидалось несколько человек бедного люда. Это был час приема больных...

Прошло несколько минут. Из кабинета вышла какая-то баба, а вслед за нею на пороге показалась небольшого роста брюнетка с умным и выразительным, несколько возбужденным лицом еврейского типа и живыми блестящими черными глазами. Вся ее маленькая фигурка в белом балахоне, одетом поверх черного платья, дышала какою-то вызывающе энергией.

– Смотрите же... Не забудьте, что я вам сказала, – говорила она быстро и точно, решительным, несколько авторитетным голосом. – Три раза в день по чайной ложке и мазь... Чья очередь?.. Пожалуйте...

В эту минуту Антошка подбежал к ней и проговорил взволнованным голосом:

– Госпожа докторша, будьте добреньки, зайдите поскорей к графу... Он опасно заболел...

– К какому графу? – изумилась докторша, взглядывая на взволнованного Антошку. – Граф может позвать другого врача...

Антошка поспешил объяснить, что заболевший не граф, а только так прозывается. Он Александр Иванович Опольев, и бедный, совсем бедный... Вчера выходил в одном пальтеце и вернулся весь заколевши... А всю ночь горел... И сейчас горит... Грудь болит, и ломит спину.

– Помогите, госпожа докторша, а то неравно помрет! – прибавил Антошка упавшим голосом.

Докторша записала адрес и обещала прийти тотчас же, как окончит прием больных.

– В десять часов буду! – прибавила она.

– Спаси вас бог! – воскликнул полный благодарности Антошка и побежал домой.

В десять часов явилась докторша. Ее встретила Анилья Ивановна и сочла почему-то

нужным сообщить ей, кто такой ее жилец, как он оставлен богатыми своими родственниками и принужден побираться. Не преминула Анисья Ивановна рассказать и о том, как Александр Иванович пригрел такого же нищенку-сиротку Антошку...

Только после этого предисловия Анисья Ивановна ввела докторшу в комнату жильца и, подойдя к его кровати, сказала:

– А я вам, Александр Иванович... докторшу привела...

«Граф» недовольно повел глазами на вошедшую. Его несколько смущало появление женщины-врача, и он надвинул на себя одеяло.

– Напрасно вы беспокоили, Анисья Ивановна, госпожу докторшу... У меня, собственно говоря, ничего серьезного...

«Граф» храбрился нарочно, несколько стесняясь осмотром женщины, а сам хорошо сознавал серьезность болезни и жаждал помощи.

– Я и не сомневаюсь в этом. А все-таки не позволите ли вас выслушать?

Докторша сказала это так просто, так

участливо, и живые, умные ее глаза глядели с такою ласковою серьезностью, что «граф» проговорил:

– Что ж... Если вы находите нужным...

И он расстегнул ворот сорочки.

Докторша долго и внимательно выслушивала и выстукивала все еще богатырскую грудь «графа» и, предложив ему поставить термометр, проговорила:

– Болезнь ваша серьезнее, чем вы думаете... Конечно, опасности нет, но вам придется несколько времени пролежать в постели.

«Граф» пристально посмотрел на докторшу.

Его ввалившиеся большие черные глаза, горевшие лихорадочным блеском, глядели с выражением какой-то грустной насмешливости.

– Вы полагаете... опасности нет? – прошептал он и, заметив, что Антошка жадно и испуганно прислушивается, прибавил: – Вы говорите по-немецки?

– Говорю! – ответила докторша, несколько смущенная этим взглядом и ироническим тоном его слов.

И «граф» продолжал по-немецки:

– Не скрывайте от меня правды. Я знаю, что я опасен... Я бывал в руках докторов... Воспаление легких в мои годы и при такой обстановке... *Finita la comedia?* [13] Не правда ли?.. Если так, то не лучше ли меня свезти в больницу, чтоб не стеснять эту добрую хозяйку... И кроме того, мне надо распорядиться насчет этого мальчика... Это – единственное существо на свете, ради которого я хотел бы еще жить...

Докторша заметила, что в настоящее время было бы опасно перевозить его в больницу, и снова повторила, что не отчаивается в его выздоровлении...

– Ну, спасибо вам... спасибо! – проронил по-русски усталым голосом «граф». – Я жить все-таки хочу! – прибавил он...

Докторша прописала рецепт, велела поставить мушки и оставила термометр, чтобы три раза в день измерять температуру.

– А вы будете записывать ее! Сумеете? – обратилась она к Антошке.

– Он сумеет! – не без горделивого чувства вставил «граф».

– Ну, до свидания... Вечером я опять зайду.

– Благодарю вас...

Она протянула ему руку и, ласково кивнув головой, вышла из комнаты больного и, сделав Анисье Ивановне соответствующие наставления, проговорила, вынимая из портмоне деньги:

– Вот возьмите десять рублей... Понадобятся... Купите больному вина... мадеры... давайте понемногу...

Но Анисья Ивановна горячо протестовала... У нее есть деньги... Она сама купит, что нужно... И, наконец, можно дать знать родственникам графа... Они помогут...

Взволнованная, вышла докторша из этой квартиры. Этот нищий больной, заботившийся о таком же нищем приеме... Эта добрая женщина, отказывающаяся от денег... все это произвело на чуткую, отзывчивую докторшу сильное впечатление...

Она спускалась по лестнице, когда ее нагнал Антошка и спросил:

– Госпожа докторша... Как граф?.. Не помрет?..

– С чего вы взяли?.. Надеюсь, что он попра-

ВИТСЯ...

— О, вылечите его... вылечите его, добренькая барыня!.. Если б вы знали только, какой он добрый... Мне вот справил полушубок, а сам...

И с этими словами Антошка бегом побежал в аптеку за лекарствами и в лавку за вином.

XXI

Сила живучести оказалась действительно большой у «графа». Несмотря на его расшатанный организм и долгие годы пьянства, он выдержал воспаление легких. Через несколько дней острый период болезни миновал, и докторша, навещавшая его ежедневно по два раза и привозившая ему сама лекарства, радостная и веселая, объявила ему, что теперь он вне опасности.

Растроганный «граф» благодарил Елизавету Марковну и называл ее своей спасительницей. Антошка, все эти дни ухаживавший за «графом», чуть не прыгал от радости и глядел на докторшу с каким-то особенным почтением.

Когда она ушла, «граф» в первый раз с аппетитом поел бульона и, присаживаясь на кровати, сказал:

– Ну, теперь, Антошка, надо и о делах подумать... Небось много мы задолжали Анисье Ивановне?.. Дайка мне сюда перо и бумаги... Напишу-ка племяннице... Она добрая, не откажет... А ты снесешь ей письмо... Только смотри, по черному ходу носи... А то на парадной швейцар – большая бестия и не пустит тебя. Постарайся самой барышне в руки отдать письмо...

– Будьте спокойны, граф! Все как следует обделаю! – не без гордости отвечал Антошка.

«Граф» принялся за письмо, как в комнату вошла Анисья Ивановна и смущенно проговорила:

– Александр Иванович... Околоточный за чем-то хочет вас видеть... Уж он два раза приходил... Тогда я упросила его подождать... Говорю: совсем вы больны... Ну а теперь... настоятельно требует...

– Околоточный?!.. Что ему нужно?.. Попросите его сюда, Анисья Ивановна.

При имени «околоточного» Антошка

струхнул.

Через минуту в комнату вошел молодой, довольно представительный и чистенький околоточный и, бросая взгляд на Антошку, вежливо поклонился «графу» и проговорил:

– Насчет вас бумага из участка... Не угодно ли прочесть...

– Удивляюсь, что нужно от меня полиции? – промолвил «граф», растягивая для важности слова и щуря глаза. – Дайте, пожалуйста, эту бумагу.

Околоточный вынул ее из портфеля и подал «графу».

Тот пробежал ее и изменился в лице.

В этом предписании частному приставу предлагалось объявить отставному гвардии штабс-ротмистру Александру Опольеву о том, чтобы он немедленно отправил проживающего у него незаконного крестьянского сына Антона Щигрова, четырнадцати лет, в приют общества «Помогай ближнему!». В случае же оказания названным Опольевым какого-либо препятствия отобрать от него Антона Щигрова, объявив Опольеву, что за уклонение от распоряжений начальства он будет подверг-

нут строжайшему взысканию.

– Но по какому же это праву?! – воскликнул «граф», бросая тоскливый взгляд на Антошку. – Если он не желает в приют...

Антошка понял, что околоточный пришел из-за него, и стал белее рубашки...

– Извините-с... Я ничего не знаю... Я подчиненный чин... Потрудитесь расписаться...

Но вместо того «граф» снова воскликнул:

– Эта дура княгиня... моя двоюродная сестра хочет насильно тащить в приют мальчика, о котором я просил... Это она затеяла всю эту подлую... историю... Но я... я не позволю... Слышишь, Антошка?.. Мы не позволим... Ты не будешь в приюте!.. Экие мерзавцы эти благодетели! – кипятился возмущенный «граф».

И, обращаясь к околоточному, проговорил:

– Послушайте... Прошу вас повременить день-другой... Даю вам слово, что мальчик не убежит, а я сейчас же напишу этой княгине и еще одной родственнице... попрошу их, чтобы они немедленно просили об отмене этого нелепого распоряжения... Если на то пошло, я усыновлю этого мальчика, и, надеюсь, тогда

никто не посмеет взять его у меня... О, какие же они мерзавцы!.. Отвернулись все от меня и теперь хотят отнять единственное близкое мне создание... Послушайте, господин околоточный, вы молоды, у вас, вероятно, еще не заглохли чувства... Умоляю вас, повремените день-другой...

– Повремените! – просила и Анисья Ивановна.

– Что ж... я... пожалуй... доложу, что вы еще больны и находитесь в бессознательном состоянии.

– Благодарю вас... Вы – человек! – промолвил «граф», протягивая околоточному руку.

Через несколько минут Антошка бежал в дом Опольева с письмом к Нине, передав другое письмо к княгине Моравской посылному.

Ах, какие красноречивые были эти письма горемычного «графа»!

Появившись в большой кухне Опольевых, Антошка на этот раз не интересовался наблюдениями. Он не обратил своего внимания ни на обстановку, ни на количество медной посуды, ни на низенькую, приземистую фигуру повара, стоявшего у плиты и мешавшего что-то в кастрюле большой ложкой, а поглощенный одною мыслью – передать как можно скорее письмо по назначению – обратился к молодому кухонному мужику, который недалеко от дверей перемывал в жестяной лохани тарелки.

Голос Антошки дрожал тревожным нетерпением, когда он спросил молодого парня:

- Скажите, пожалуйста, барышня дома?
- Барышня? А тебе зачем барышня?
- Письмо им есть... Передать бы.
- Обожди. Кто-нибудь из комнат придет и возьмет... И дома ли, нет ли барышня – скажет...

– Должно быть, дома: еще не завтракали, – заметил, отворачиваясь от плиты, повар, довольно благообразный старик с седыми куд-

реватами волосами, выбивавшимися из-под белого колпака.

И, оглядевши Антошку своими добродушными и в то же время любопытными небольшими глазками, спросил:

– А ты от кого с письмом, мальчик?

– От одного бедного их сродственника...

Оне знают...

– На бедность, значит, просит?

– Очень даже нуждаются...

Повар подумал и сказал:

– Верно, это тот самый сродственник, которого генерал приказал не пускать и писем от него не принимать...

– То-то от него письмо к барышне.

– А он как же доводится генералу... Ты не знаешь? – любопытно допрашивал старик.

– Родной брат...

– Родной брат? – воскликнул старик повар, необыкновенно изумленный. – Ты это верно знаешь?

– Очень даже верно...

– А мы полагали, что так, какой-нибудь дальний... Однако! Родной брат такого важного генерала, а швейцар говорил, что ходит

вроде нищего в самом последнем костюме...

– И вовсе даже нищие... Из-за своей легкой одежды чуть не умерли! – пояснил Антошка, заметив, что повар, видимо, не сочувствует такому бессовестному отрицанию кровных уз.

– Нищий... брат генерала Опольева!.. Нечего сказать... прокламация!.. Видно, на братца не надеется, что к племяннице пишет?

– Уж какая надежда, – с сердцем проговорил Антошка, – ежели ваш генерал вовсе отказался от родного брата... Пропадай, мол, как собака, а мне наплевать... И сколько горя принял Александр Иваныч, генеральский-то брат... Такого, можно сказать, важного звания господин, офицером в уланах служил и по улицам милостыню собирал... И все сродственники от него отреклись за родным братом... Допустили, чтобы человек терпел... А еще все графы да князья! – возмущенно закончил Антошка.

– Ддда... времена!.. Родного брата и... в шею! Очень даже просто! – протянул, ни к кому не обращаясь, старик и вздохнул, покачав головой.

Он снова стал мешать в кастрюле, черпнул ложкой и, попробовав соус, спросил:

– А ты как же знаешь генеральского брата?

Антошка в коротких словах рассказал свою историю.

Повар, видимо удивленный и тронутый, промолвил раздумчиво:

– Ишь ведь какие бывают на свете дела!.. Нищий, а призрел сироту... Богатый – и родного брата в шею... Ловко!

– Жалостливый! – вставил и кухонный мужик, необыкновенно сосредоточенно и словно бы сердито слушавший рассказ Антошки.

– А ты вот что, Афанасий, – обратился к мужику повар, – возьми-ка от мальчика письмо да снеси Дуняше, пусть, мол, самой барышне передаст, да у ней в комнате... Чтобы, значит, генерал не проведал... Да оботри прежде руки-то... Письмо замараешь... Вот так... неси теперь Дуняше... И лакеям не показывай...

Когда Афанасий ушел, повар ласково сказал Антошке:

– Пока присядь, мальчик. Бог даст, барышня не откажет помочь горемычному дяденьке... Она у нас добрая... не похожа на отца...

Тот вовсе как будто каменный! – прибавил, понижая голос, повар.

– Беспременно поможет! – уверенно подтвердил Антошка.

– Ты почему же полагаешь?

– Она раз прислала двадцать пять рублей, быдто от отца... И велела в письме, ежели что, к ней писать, а не к отцу...

– Ишь ты! Папеньку своего не захотела оконфузить! – промолвил повар.

В скором времени вслед за кухонным мужиком в кухню вошла молодая горничная Дуняша и велела Антошке идти за собой.

– Барышня хочет тебя видеть! – приветливо сказала она.

Нина дожидалась в маленькой комнате Дуняши, находившейся в коридоре, собираясь принять Антошку почти тайком.

Необыкновенно участливо и внимательно, несколько смущенная и точно чувствуя себя в чем-то виноватою, слушала эта худощавая молодая девушка с большими глазами возбужденный рассказ Антошки, в дополнение к письму, о «графе», об его болезни, об его доброте, и когда Антошка окончил рассказ моль-

бой о том, чтоб его не отдавали в приют и не разлучали с «графом», который всеми брошен, молодая девушка, потрясенная и возмущенная, обещала непременно сегодня же поехать к княгине и просить ее отменить свое распоряжение.

Она торопливо отдала Антошке конверт с двадцатью пятью рублями и проговорила:

– Кланяйся от меня дяде. Извинись, что мало посылаю... Скоро еще пришлю... Успокой его... Скажи, что я буду просить княгиню... Она не возьмет тебя в приют... я уверена... ты останешься при дяде... Ты ведь так его любишь...

– Еще бы не любить!.. – воскликнул Антошка.

– И дядя и ты – оба вы хорошие! – возбужденно произнесла девушка, – и я сделаю для вас все, что могу...

– Спаси вас бог, добрая барышня... Как граф-то обрадуется, что вы жалеете его... А то... ведь он чуть было не умер...

– Зачем же он не написал мне?

– Шибко болен был... Без памяти лежал, барышня...

– Бедный!.. Ну, иди же к нему, Антоша... Кланяйся... Вот и тебе... возьми, возьми! – говорила она, доставая из портмоне последний рубль, бывший там, и отдавая его Антошке. – Что-нибудь себе купишь...

Антошка вышел благодарный и обрадованный.

«Теперь граф не пропадет. Племянница его не чета всем этим княгиням и графиням. Сейчас видно, какая она простая да жалостливая!» – думал Антошка, торопливо возвращаясь домой...

Рубль, полученный им, заставил его задуматься о том, что бы такое купить «графу» на эти деньги, что доставило бы ему удовольствие. Долго он ломал над этим вопросом голову и, наконец, решил, что вино очень полезно «графу», тем более что и докторша во время болезни приказывала давать вина и сама его привозила, и Антошка, войдя в погреб, потребовал самой лучшей мадеры в рубль.

Рассказ Антошки произвел на молодую девушку сильное впечатление.

Первый раз в жизни она непосредственно услышала об ужасах нищеты и горя несчастных, обездоленных людей. До этого она, случалось, читала об этом в книгах или слышала мимоходом в разговорах, что люди впадают в нищету по своей вине, но никогда не задумывалась над этим вопросом. Богатая, избалованная, жившая в замкнутом кружке таких же богатых и чиновных людей, она не могла себе представить, что за этим миром довольства, блеска и роскоши существуют на свете люди, не имеющие ни пищи, ни платья, ни крова, нуждающиеся в куске хлеба в то время, когда ей шьют бальное платье, стоящее больших денег, или дарят дорогие безделки.

А теперь эти мысли бродили в ее голове, находили отклик в добром сердце девушки, и ей непременно хотелось помочь и этому несчастному дяде и этому мальчику.

Как ни было ей тяжело осуждать отца, но

она осудила его в душе за то, что он так жестоко отнесся к родному брату, и она припомнила те ужасные слова отца, которые он говорил по поводу письма, полученного месяц назад от дяди, в котором он молил о помощи для мальчика. И тогда она почувствовала правдивость этого письма. И тогда она подумала, что отец не прав, считая своего брата лжецом... И тогда она находила жестоким поведение отца и, полная стыда за него, послала свои двадцать пять рублей. А теперь, после того как услышала эту трогательную историю двух бездомных, горемычных существ, молодая девушка невольно еще строже судила отца, и слова его казались ей теперь бессердечными.

О, как бы хотелось ей помирить отца с дядей... Откуда такое озлобление? Ужели отец недоступен жалости и не может отнестись к нему тепло и сердечно, ободрить его, помочь ему?..

Но при мысли об этом ей становилось жутко, и невольные сомнения закрадывались в ее голову. Отец непреклонен и, что раз решил, не меняет. И смеет ли она учить отца? И

станет ли он ее слушать?

Но если отец не исполняет то, что велят и долг и любовь, – она должна исполнить. Она не допустит, чтобы родной брат отца нищенствовал, собирая милостыню на улицах, и чтобы от него отняли этого мальчика, которого он так любит. Это безжалостно, возмутительно!

Возбужденная и радостная, что и у нее, скучающей и неудовлетворенной тою жизнью, которую заставляли ее вести, нашлось вдруг дело, что и она может быть полезной двум существам, молодая девушка вышла из своей комнаты и прошла в кабинет к матери.

Нина рассказала ей то, что слышала от Антошки, и проговорила:

– Мама! Ведь необходимо помочь дяде и этому мальчику!

Госпожа Опольева, женщина добродушная, но благоговевшая перед мужем, хотя и согласилась с дочерью, что этот «несчастный дядя» заслуживает помощи и что он всегда возбуждал в ней жалость, но прибавила:

– А что скажет отец, Нина?

– Но разве, мама, мы-то сами не можем по-

мочь помимо папы его родному брату?.. И наконец, ведь он вовсе не такой дурной... Напротив, эта история с мальчиком... эти заботы о нем...

– Но почему дядя обратился к тебе, Нина?.. Он тебя совсем не знает... Видел маленькой девочкой...

Нина призналась матери, что раньше послала дяде от имени отца деньги и теперь послала.

– Видишь, ты какая! – растроганно произнесла мать и нежно потрепала дочь по щеке своей белой, пухлой рукой в кольцах. – А если папа узнает об этом? Ведь он будет недоволен... Ты ведь знаешь его мнение о дяде?

– И пусть узнает... Я тогда сама расскажу папе, что он ошибается... И папа, быть может, убедится и... помирится с дядей.

Опольева сделала отрицательный жест.

– Этого никогда не будет! – произнесла она грустным тоном.

– Но если ты, мама, его попросишь...

– Я уж пробовала...

– Но за что же такая ненависть?.. Что же, наконец, сделал такое дядя, что от него все от-

шатнулись и довели его до нищенства? – воскликнула Нина. – Расскажи мне, мама...

Мать рассказала известную читателю историю «графа».

– Что ж тут такого ужасного, мама?.. Разве дядя не мог исправиться? И разве многие молодые люди не то же делают?.. И, однако, их не изгоняют из общества... Помнишь, еще недавно какую историю рассказывали о графе Бежецком... Он сделал вещи похуже, чем бедный дядя, и тем не менее его везде принимают... И папа и ты с ним любезны. Он остался в полку...

– Положим, с дядей сурово обошлись... не спорю, – заметила мать, – но все-таки так опуститься, сделаться пьяницей, нищим...

– Но кто же в этом виноват? Разве родные поддержали его тогда? Напротив, все, как ты говоришь, его оставили и сами же обвиняют его. Ах, мама, мама, как это несправедливо и безжалостно! – воскликнула молодая девушка. – Нет, мама, голубчик, милая, добрая, ты уж позволь мне помогать дяде... я буду давать ему в месяц свои двадцать пять рублей... И свои непременно... Мне на булавки и осталь-

ных двадцати пяти за глаза довольно... И не нужно папе говорить... Пусть дядя будет думать, что это он посылает... Не правда ли?..

– Ну что ж, делай как хочешь, добрая моя девочка, возьми и от меня маленькую лепту... пошли ему еще десять рублей... Я буду давать каждый месяц.

– Спасибо за дядю и за мальчика, мамочка... Теперь они по крайней мере не будут нищенствовать... А за этого мальчика я буду просить тетю Мери... Я после завтрака к ней поеду... Можно?

– Поезжай... только вряд ли ее застанешь после завтрака... Ведь Marie, ты знаешь, всегда занята... Время у нее распределено...

– Я теперь поеду...

– А завтракать?..

– Бог с ним, с завтраком... Потом позавтракаю...

– Так прикажи закладывать карету...

– Нет, я лучше в санях, мамочка...

И с этими словами Нина вышла из кабинета матери и попросила Дуняшу приказать запрячь сани.

Через полчаса она уже ехала к княгине Мо-

равской. Дорогой у нее явилась мысль после визита к Моравской поехать к дяде. То-то он обрадуется! Непременно надо навестить его. Мама, наверное, не рассердится! А отец не будет знать об этом!

– Дома княгиня?

– Дома, пожалуйста!

Молодая девушка быстро поднялась по лестнице.

Лакей встретил ее у дверей почтительным поклоном и, проводив до гостиной, пошел докладывать княгине.

XXIV

Княгиня Марья Николаевна с четверть часа тому назад вернулась с прогулки, по обыкновению свежая, цветущая и румяная, в том спокойном, уверенном и довольном расположении духа, которое бывает у счастливо уравновешенного человека, сознающего, что все, что он делает, хорошо и плодотворно и что сам он безупречен.

Сегодня во время прогулки именно такие мысли занимали княгиню, и она с горделивым чувством подумала, что она живет не

так, как другие женщины. В самом деле, большую часть женщин ее круга занимают выезды, наряды, сплетни, флирт и разные сердечные увлечения, доводящие многих до забвения всяких приличий, – а она вся поглощена деятельностью. Скольким людям она благоденствует, сколько несчастных благодаря ей сделались счастливее, сколько детей призрываются в приютах... А все эти благотворительные концерты, спектакли и базары, устраиваемые благодаря ее энергии и настойчивости, как много дают они средств на добрые дела!..

Благодаря ее деятельности она не скучает, не нервничает, как эти светские дамы... Жизнь ее полна смысла, и она несет «крест свой» без всякого ропота... Да и бог с ним, с этим семейным счастьем... Она обходится и без него, и не надо ей какой-то любви, о которой так хлопочут многие женщины. Она и в молодости никого не любила и вышла замуж за старика по рассудку, так уж теперь...

С жестокостью женщины, никогда не увлекавшейся и всегда исполнявшей свой долг с неумолимой строгостью, княгиня не отказала себе в маленьком удовольствии осудить тех,

кто распускает себя, мысленно назвать их презрительной кличкой и брезгливо пожать плечами...

И сама она внутренне гордилась своею безупречностью, не подозревая, конечно, что эта безупречность в значительной мере зависела от ее уравновешенной, честолюбивой и холодной натуры, и с самодовольным чувством думала, что она примерная во всех отношениях женщина благодаря твердым принципам, основанным на религиозном фундаменте.

С таким заключением она вернулась домой, сделавши свой узаконенный моцион, рекомендованный ей доктором, чтобы не полнеть.

Письмо «графа», которое княгиня только что прочла, несколько смутило молодую женщину и, главное, нарушило ее спокойное расположение духа и поколебало ее уверенность в том, что все, что она делает, хорошо и полезно.

Давно-давно не читала княгиня таких писем, хотя получала их много.

Это было страстное, умоляющее и вместе с тем негодующее письмо возмущенного и

несчастливого человека, полное ядовитых сарказмов насчет желания кузины спасти людей при помощи полиции и делать не добро, а зло. Искренностью и горем дышали эти строки, в которых «граф» объяснял, что такое для него этот мальчик, возродивший его к жизни, его, одинокого и всеми брошенного. Неужели милые родственники, не желающие его знать, хотят отнять единственное преданное ему существо. «Это было бы бессовестно и бездушно, княгиня, – писал „граф“. – Если вы это сделаете, значит, вы сами никогда и никого не любили, кроме себя, и ваша благотворительность ничего не стоит, она для вас – удовлетворение тщеславия, и больше ничего. Ужели у вас хватит жестокости нанести последний удар тому человеку, который – помните? – когда-то был вашим искренним почитателем. Впрочем, и тогда вы были всегда слишком холодны и рассудительны, и если теперь эти качества получили полное развитие, то от вас ждать пощады нечего... Вы, конечно, думаете, что я, отверженный, буду виновником гибели мальчика... У вас ведь, у сытых, богатых людей, и особенно у благоотво-

рителей... такая мораль... Вы воображаете, что ваши приюты спасают... О как вы ошибаетесь и как вы слепы, если б только могли это понять... Простите за резкость письма, но поймите, если не можете чувствовать, что вы хотите сделать... Повремените по крайней мере. Соберите справки, узнайте обо мне, пошлите своих благотворителей справляться о мальчике, и если сведения эти будут неблагоприятны, тогда... тогда берите его в приют, из которого Антошка, конечно, убежит и благодаря вам действительно попадет, как вы выражаетесь, в „когти порока“... Нет, вы этого не сделаете, кузина... Не сделаете».

Прошла минута-другая, а княгиня все еще держала письмо в руках. Она хотела бы отнестись к этому дерзкому письму с презрением и чувствовала, что не может... Она хотела уверить себя, что это пишет «пропавший человек», пьяница, негодяй и что на этот «пьяный бред» не стоит обращать внимания, – и тем не менее чувствовала, что этот «бред» задевает ее и что он дышит правдой...

И ее красивое, спокойное, уверенное в себе лицо омрачилось тенью. Вместо того, чтобы

разорвать письмо, она положила его на письменный стол и задумалась...

В эту минуту постучали в двери.

– Войдите!

– Нина Константиновна Опольева! – доложил лакей.

– Просите сюда! – проговорила княгиня.

Она поднялась и пошла встретить молодую девушку.

Княгиня очень благоволила к своей молодой родственнице. Она считала Нину серьезной девушкой, а не обыкновенной светской пустельгой, которая только ищет женихов и занимается кокетством.

– Какой счастливый ветер занес тебя, Нина? – говорила княгиня, целуя молодую девушку. – У вас все здоровы: мама, отец?

– Все здоровы, тетя Мери... А к вам я, тетя, с просьбой, с большой просьбой.

– Да ты присядь прежде, Нина...

Нина опустилась на маленький диванчик.

– Ну, теперь рассказывай, в чем дело...

Волнуясь и спеша, молодая девушка стала просить княгиню не определять Антошку в приют.

– Если б вы знали, тетя, как любят они друг друга: бедный дядя и этот мальчик!.. Он сейчас у меня был и рассказывал, что дядя был опасно болен, чуть не умер, простудился, когда вышел в легком пальто собирать милостыню... А этого своего приемыша ни за что не пускал... Его одел, а о себе не подумал... Вообще тут все необыкновенно, тетя, и доказывает, что дядя вовсе не такой дурной человек... Напротив...

– И твой папа так теперь думает?

– Нет, тетя... Папа предубежден против дяди...

– А ты, Нина, увлекаешься... Я тоже получила сейчас письмо от кузена... и очень дерзкое и наглое... И он требует, чтоб я не определяла его приемыша в приют... И какой тон... Какие выражения!..

– Но, тетя, он так несчастен... Полиция грозит отнять мальчика...

– Да, я просила об этом, чтобы его спасти... Он произвел на меня очень хорошее впечатление, этот мальчик. В приюте ему было бы лучше! – настаивала княгиня.

– Он убежит из приюта... Он не хочет туда!

– И твой дядя пишет, что убежит... Вот делай после этого добро людям... Хлопчи о них! – с сердцем промолвила княгиня. – Что может выйти из этого мальчика? Нищий, пьяница, вор.

– О нет, тетя, нет... О нем и о дяде будут заботиться... Дядя больше не станет просить милостыни... Нет! – энергично протестовала Нина, вся вспыхивая.

– Ты хочешь помогать ему?

– Да, тетя.

– Напрасно, моя милая... Надо помогать с разбором... Твои деньги пойдут на пьянство... Твой дядя совсем погибший человек...

– Не думаю, тетя...

– А я уверена... Уж если помочь ему, то иначе...

– Как, тетя?

– А вот как: поместить его в богадельню. Я берусь это устроить. Это было бы лучше всего!

И княгиня вся засияла от этой неожиданно осенившей ее голову мысли. В самом деле, чего же лучше!

– Но если дядя не захочет, тетя, в богадельню? – промолвила Нина и невольно улыбну-

лась этому неудержимому желанию княгини благодетельствовать людям, не спросивши у них, хотят ли они этого.

– Ну и дурак, если не захочет, – категорически отрезала княгиня. – Ему, значит, нравится жизнь, которую он ведет.

– Нет, милая тетя, уж вы исполните просьбу... Оставьте дяде мальчика... Не откажите, голубчик тетя! – упрашивала Нина.

– Ну, хорошо... Я уступаю... Не хотят люди добра – как хотят, а я умываю руки! – проговорила, наконец, княгиня.

– И напишите поскорей кому там нужно, а то полиция возьмет мальчика.

– Я сейчас протелефонирую.

И княгиня подошла к телефону, вызвала кого следует и просила отменить распоряжения.

– Ну, теперь одним нищим на свете будет больше... поздравляю. Ты довольна этим, Нина? – проговорила княгиня.

Но тон ее голоса звучал весело. Она, казалось, сама была рада, что исполнила просьбу и оставила Антошку при «графе».

– А мне кажется, что теперь двумя менее

несчастливыми людьми будет более! – заметила Нина, улыбаясь своими большими кроткими глазами.

– Ты, Нина, еще очень молода и потому смотришь в розовые очки... Дай бог, чтоб бедный кузен исправился благодаря мальчику, хотя я мало верю в исправление таких людей... Согласна, что это в самом деле трогательная история... Письмо его хоть и дерзкое, а кажется искренним и, признаюсь, произвело и на меня впечатление...

– Вот видите, тетя... Что он пишет?

– Он более бранится... Ну, довольно об этом. Что кончено, то кончено... Расскажи о себе. Я тебя давно не видала... Что ты делаешь? Надеюсь, ты с нами позавтракаешь? Я тебя не отпущу, слышишь? Довольна ты своей жизнью?

Молодая девушка призналась, что та жизнь, которую она ведет, ее не удовлетворяет.

– Ну еще бы!.. Есть чем удовлетворяться! Эти ваши скучнейшие балы, эти ваши глупые фиксы и глупые кавалеры... Надеюсь, не влюбилась еще ни в одного из этих господ?

– Нет, тетя...

– И слава богу... Я всегда считала тебя умной девочкой... А что ты читаешь? Не одни романы, конечно?

– Нет, тетя... Я и журналы читаю...

– Тебе бы надо, Нина, делом заняться...

– Каким? Научите, тетя...

– Сделайся членом нашего общества «Помогай ближнему!», и, если захочешь, дело найдется...

– Я охотно готова бы работать... Но только...

Она не договорила, несколько смущенная.

– Что же тебя останавливает?

– Папа не особенно любит все эти благотворительные общества...

Княгиня вспыхнула.

– Твой отец – извини, а уж я прямо скажу – совсем сделался в последнее время чиновником и не понимает никакого живого дела... Мы с ним не раз ссорились из-за этого... По его мнению, только то хорошо, что вышло из канцелярий, а свободная частная деятельность ему не по сердцу... Он и меня считает вроде сумасшедшей... я знаю... Но я с ним по-

говоря о тебе и надеюсь, что он позволит тебе работать под моим наблюдением... Хочешь?..

– С большим удовольствием!

– Очень рада... Ты по крайней мере будешь полезна ближним... А теперь ты что?.. Барышня с хорошим приданым, за которой охотятся женихи... Нечего сказать, приятное положение... И знаешь, что я тебе скажу, Нина?..

– Что тетя?..

– Не торопись выходить замуж.

– Я и не тороплюсь.

– Тебе двадцать лет... Подожди еще лет пять...

– Охотно буду ждать, тетя! – рассмеялась Нина.

– И главное, Нина, не выходи замуж по расчету, и особенно за старика... Избави тебя бог от этого! – как-то значительно и серьезно проговорила княгиня. – Ну, а теперь пойдем завтракать, – круто оборвала она разговор, когда вошедший лакей доложил, что завтрак подан.

— Куда, прикажете, барышня, домой? — спросил кучер после того, как швейцар Моравских усадил Нину в санки и застегнул полость.

— Нет, Иван... Поезжайте к Бердову мосту. Вы знаете, где Бердов мост?..

— Как не знать, барышня.

Кучер натянул вожжи, и резвая вороная «Светланка» понесла санки крупною быстрою рысью.

Кучер любил «хорошо прокатить» барышню, которую он, как и вся вообще прислуга в доме Опольевых, отличал за ее простоту и ласковое, приветливое обращение, показывавшее, что барышня не гнушается простым человеком. Это не то что «сам генерал», всегда ровный, никогда не возвышавший голоса и в то же время с каким-то снисходительным презрением смотревший на прислугу. Никогда ни с кем ни одного лишнего слова, кроме приказаний, точных и коротких. Никогда ни малейшей фамильярности и никакой шутки, даже с камердинером, который жил у него

шесть лет. И недаром все трепетали Опольева, зная, что за малейшую неаккуратность и за неточное исполнение его приказаний виновный будет немедленно рассчитан и без всяких объяснений.

Иван пустил «Светланку» вовсю. Снежная пыль обдавала закутанную Нину, и ветер резал ее лицо. Она любила скорую езду.

– Тише, тише, Иван... Кого-нибудь задавите!..

– Что вы, барышня!.. Не извольте беспокоиться...

Однако он попридержал лошадь, и только в малолюдной Офицерской снова пустил «Светланку» полным ходом.

Не доезжая Бердова моста, кучер круто осадил лошадь у ворот большого дома, указанного Ниной.

Она вышла из саней и нерешительно дернула за звонок у ворот.

Наконец явился дворник.

– Где здесь живет господин Опольев? – спросила Нина.

– На заднем дворе, у прачки, третий этаж... номер пятьдесят! – грубовато ответил двор-

ник.

– Да ты проводи-то барышню... Не видишь, кто с тобой говорит! – сердито окрикнул кучер, находивший, что дворник отнесся не с надлежащим почтением к барышне, да еще приехавшей на собственной лошади.

– Я... что ж... Я провожу... Пожалуйста, барышня! – проговорил дворник уже более любезно.

«Ишь ведь дядю нищего своего пошла проведать», – сочувственно подумал кучер, который уж узнал сегодня на кухне, кто такой брат их генерала.

Не без некоторой брезгливости поднялась Нина по темной вонючей лестнице с мокрыми ступеньками и покрытыми сыростью стенами. Из многих квартир с открытыми дверями шел скверный запах кухни и смрада. По лестнице шмыгнули какие-то подозрительные мужские фигуры, скверно одетые, с испитыми физиономиями, и удивленно озирали нарядно одетую барышню. И Нине становилось жутко.

– Вот здесь, пожалуйста.

И дворник дернул звонок.

За дверями послышалось шлепанье туфель, и Анисья Ивановна в кофте и юбке, с застученными рукавами, показалась в дверях.

– Вам кого? – удивленно спросила она.

– Александр Иванович Опольев здесь живет?

– Здесь... здесь... Пожалуйста, барышня! – приветливо встретила Нину квартирная хозяйка, догадавшись по описанию Антошки, что эта та самая племянница, которая помогла «графу».

– Можно к нему войти? – робко спросила Нина и невольно поморщилась, вдыхая отвратительный спертый воздух маленькой квартирки.

– Очень даже можно... Александр Иваныч сегодня первый раз встали и сидят... Не угодно ли? Входите... Вот их комната...

Нина постучала.

– Войдите! – раздался из комнаты низкий сипловатый басок «графа».

Молодая девушка вошла и остановилась на мгновение, смущенная и взволнованная, пораженная и нищенской обстановкой маленькой комнатки, и видом этого бледного,

смертельно бледного, осунувшегося лица, изрытого морщинами, с черными, глубоко сидящими глазами, все еще красивого и выразительного. Шапка кудрявых, седоватых волос, покрывавших большую голову «графа», придавала ему вид художника. С первого же взгляда Нину поразило необычайное сходство его с отцом, но только «граф» казался совсем стариком, хотя и был моложе. Одет он был в свой знаменитый дырявый халат...

– С кем имею честь?.. – с изысканною вежливостью начал было удивленный «граф», с трудом приподнимаясь с кровати и стараясь держаться прямо, но не dokonчил фразы и, пристально вглядевшись в Нину, воскликнул:

– Нина... Нина Константиновна... Неужели это вы?

– Я самая, дядя! – проговорила покрасневшая девушка, торопливо подходя к «графу» и протягивая ему руку.

– Не ожидал! – едва вымолвил он и горячо припал к ее руке.

Нина поцеловала его в голову...

– Не ожидал! – повторил он, стараясь скрыть свое волнение. – Спасибо вам, милая

девушка... Спасибо... Садитесь...

И «граф» хотел было подвинуть табурет.

– Не беспокойтесь, дядя... пожалуйста, сидите...

И, присев на табурет, она продолжала, все еще смущенная и взволнованная:

– Я непременно хотела побывать у вас, узнать о вашем здоровье и сообщить приятную весть и вам и Антоше, – обернулась она к Антошке, ласково ему улыбнувшись. – Я только что от княгини Моравской... Антошу от вас не возьмут... Княгиня телефонировала градоначальнику...

Антошка весело улыбался.

– И за это спасибо вам, Нина Константиновна...

– Просто – Нина, дядя...

– Ну извольте, Нина... И за все, за все, что вы сделали...

– Полноте, дядя... Стоит ли говорить... много ли я сделала?.. Я ничего не сделала того, что бы следовало, – как-то значительно и словно бы виновато проронила молодая девушка, бросая робкий взгляд, полный участия, на «графа». – Я ведь раньше решительно

ничего не знала о вас, а теперь как узнала от Антоши, какой вы хороший...

– Ну, ему верить нельзя... Он удивительно болтливый и, главное, увлекающийся мальчишка... Видите ли. Нина, детство его было очень печальное, и когда его пригрели, он уж и раскис, являя редкое качество: чувство благодарности... Так княгиня смиростивилась?.. Отказалась от мысли силою облагодетельствовать Антошку и, конечно, полагает, что он пропадет?.. Но вы, Нина, я уверен, этого не думаете и понимаете, что я постараюсь, чтоб он не был похож на меня! – прибавил он с горькой улыбкой.

– Разумеется, не думаю, дядя...

– И не ошибетесь... верьте...

И, словно бы спохватившись и вспоминая, что и он когда-то был светским человеком, «граф» поспешил осведомиться о здоровье ее родителей.

– Благодарю вас, здоровы...

Она хотела было прибавить: «Вам кланяются», но удержалась от этой лжи и прибавила:

– Я ведь к вам, дядя, приехала экспром-

том... Ни папа, ни мама не знают...

– Тем более порадовали... Ведь вы первая из родственников решились посетить меня... Первая и, вероятно, последняя...

– Я, дядя, если позволите, и еще приеду.

– Позволю?.. Я буду бесконечно рад вас видеть, но... как бы вам-то не досталось, милая племянница... Ваш отец не очень-то обрадуется, если узнает, а я... я не хочу, чтобы из-за меня вам сказали хоть одно неприятное слово! – прибавил граф на превосходнейшем французском языке.

– Не бойтесь... Не достанется... И я надеюсь, что и папа примирится с вами... поймет, как он перед вами... виноват!..

– Виноват?.. Напрасно вы думаете, что он виноват... У брата своя точка зрения... Он человек известных правил... вот и все...

Нина просидела полчаса и была просто очарована и изяществом «графа», и его остроумными замечаниями, и его манерами, полными достоинства.

Наконец она поднялась и, крепко пожимая руку «графа», горячо проговорила:

– Я очень, очень рада, дядя, что познакоми-

лась с вами...

И прибавила по-французски с робкою застенчивостью:

– И надеюсь, дядя, что вы позволите мне быть исключением из родственников... и... и... быть вам полезной, – чуть слышно прибавила она. – Видите ли... у меня есть свободные и совсем ненужные деньги... Не обидьте, дядя, меня отказом и позвольте ежемесячно присылать вам безделицу... тридцать пять рублей... Больше я, к сожалению, не могу...

«Граф» не находил слов.

– И кроме того... вам, дядя, необходимо переменить квартиру и... сделать кое-что... Вы больны, вам нужен уют... теплое платье... На днях я пришлю деньги... Они мне совсем не нужны... право... двести рублей... Вы перемените обстановку... Вам необходима чистая комната... Не правда ли... И вы возьмете от любящей вас племянницы... Ведь да, да?..

– Милая! Добрая!.. – проговорил дрогнувшим голосом «граф».

– До свиданья, дядя... Будьте здоровы...

Она крепко пожала руку «графа» и сказала Антошке:

– Проводи меня, Антоша... Прощайте, Ани-
сья Ивановна...

Антошка проводил молодую девушку до саней. Когда он ее подсаживал, то заметил, что глаза ее полны слез.

– Прощайте, барышня... Дай вам бог всего хорошего! – горячо проговорил он.

– До свиданья... Берегите дядю... Если ему будет хуже, дайте мне знать...

Необыкновенно веселый и радостный вернулся Антошка к «графу» и думал встретить и его такого же веселого. Но каково же было его удивление, когда, войдя в комнату, он увидел «графа», сидящего на кровати с закрытым руками лицом. Плечи его вздрагивали, словно бы он плакал.

И «граф» действительно плакал, потрясенный и тронутый сердечным участием, которого он так долго не видал. Неужели это не сон и впереди новая жизнь без этого опостылевшего попрошайничества?

Молодая девушка возвращалась домой расстроганная и взволнованная, одушевленная горячим желанием во что бы то ни стало устроить несчастного дядю. Он положительно ее очаровал, этот нищий и пропойца, как беззгливо называл ее отец родного брата. Необходимо – и как можно скорее – перевести его из этой крошечной, полутемной комнаты в лучшую, надо дать возможность ему одеться сколько-нибудь прилично, завести белье, теплую одежду... вообще успокоить его хоть на склоне жизни...

Она заметила и этот дырявый халат неопределенного цвета, бывший на нем, и эти туфли, которые не надела бы ее горничная, и это отвратительное, порыжелое пальто, тоненькое, заштопанное, висевшее на гвоздике.

И в таком одеянии родной брат ее отца выходил на улицу просить милостыню!

О папа, папа!

Бедный дядя! Как должен страдать он, всеми брошенный, всеми презираемый. Как зяб

он, едва прикрытый, в то время когда его близкие родные ездили в роскошных шубах или сидели в уютных, теплых комнатах. И никто не вспомнил о нем, никто не пожалел его!

– Отчего такая жестокость? – спрашивала себя потрясенная девушка.

А между тем как он был тронут малейшим вниманием и сколько в нем доброты, сколько нежности к спасенному им мальчику. Сам нищий, заботится о таком же нищем. А отец говорил, что он изолгавшийся, пропавший человек!

– Господи! Отчего отец так озлоблен против него?

Нина – эта тепличная барышня, оберегаемая от всякого прикосновения с действительной жизнью – первый раз в течение своей двадцатилетней жизни увидела, как живут бедные люди. Ей, не имевшей понятия о том, в каких действительно ужасных подвалах и трущобах гнездится бедный люд, и это сравнительно еще сносное помещение «графа», о котором не смели бы мечтать более несчастные люди, – казалось чем-то ужасным, чем-то

невозможным.

И перед ней словно бы внезапно приподнялась завеса нового мира – мира нищеты и страданий, о котором прежде она ничего не знала и никогда не думала сколько-нибудь сознательно.

Она, положим, и раньше слыхала, что существуют на свете нищие люди, но они представлялись ей какими-то порочными отверженцами, какими-то страшными людьми, сделавшимися такими по собственной вине.

По крайней мере так говорил о них отец, и она ему верила.

Слышала она от отца и другие своеобразные суждения вообще о народе.

Его превосходительство неизменно и с присущим ему апломбом говорил – и в последнее время все чаще и настойчивее, – что русский народ вконец развращен и испорчен: он ленив и беспечен, живет как свинья, пьянствует и совсем распущен благодаря тому, что после освобождения с ним сентиментальничали, вместо того чтоб поставить над ним строгую непосредственную власть. Необходимо народ держать в ежовых рукавицах и не

стесняться учить его по-старинному – розгой. Такая строгость, разумеется разумная, необходима в собственных его же интересах – иначе прежние патриархальные качества русского мужика исчезнут окончательно. Подобная опека вполне отвечает и государственным задачам и самобытным русским устоям.

– Разнуздайте этого зверя или дайте ему попробовать европейской цивилизации, и вы увидите, что будет...

Его превосходительство не досказывал, что будет, но его гладко выбритое лицо чиновного авгура становилось таинственным, и он как-то угрожающе разводил выхоленными руками с крепкими ногтями, предоставляя слушателю догадываться, что может произойти...

Такие положения сделались любимым коньком Опольева после того, как он, умудренный, вероятно, житейским опытом, круто переменял прежние свои взгляды, когда составлял красноречивые записки по поручению прежнего начальства совсем в другом духе о том же самом народе.

Теперь же он любил выставлять на вид но-

вые свои воззрения, к которым пришел, как говорил он, путем горького разочарования в приложимости к русской жизни многих, казалось бы, и полезных реформ. Насколько было возможно, он старался провести свои новые мнения путем бойких записок, снабженных многочисленными историческими, экономическими и даже богословскими данными.

Он называл себя здравомыслящим консерватором и находил, что решительный консерватизм будто бы вполне соответствует духу времени и в то же время не бесполезен для увенчания блестящей карьеры.

Однако он заблуждался насчет своих честолюбивых надежд. Его решительные проекты погребены были в министерском архиве, и его не призывали осуществлять их.

Других мнений не приходилось слышать молодой девушке в отчем доме, и когда отец высказывал их, бывало, за обедом какому-нибудь приглашенному гостю, то гость не противоречил, а соглашался с его превосходительством.

Но и такие разговоры из области государ-

ственной политики происходили редко в присутствии молодой девушки. Они обыкновенно велись в кабинете. Ей же приходилось только слушать во время визитов разные светские и административные сплетни и не особенно остроумные *beaux mots* [14], сообщавшиеся матери, шаблонно-светскую, непосредственно к ней обращенную бессодержательную болтовню порядочных молодых людей или пошловатые любезности ухаживателей, которые не прочь были предложить ей руку и сердце и взять ее хорошее приданое. В дамском обществе, среди кузин и приятельниц, ей приходилось слушать одни и те же разговоры о нарядах, о Михайловском театре, о флирте того-то с той-то и самые злые сплетни насчет замужних женщин, увлечения которых обсуждались даже молодыми девицами.

И молодая девушка жила в этом обособленном кружке, полном своих интересов, интриг и искательств, точно в каком-то заколдованном замке, до которого не доносилась широкая волна жизни. Все, что происходило там, за пределами волшебного замка, ей было так

же неведомо, как неведома внутренность Африки.

Не помогло ей нисколько в этом отношении и шестилетнее пребывание в учебном заведении. И там все вопросы, более или менее интересующие обыкновенных смертных, предусмотрительно обходились, как совершенно бесполезные для будущих светских дам, которым решительно не нужно знать: действительно ли земля кругла и отчего крестьяне не имеют ни бриошей [15] к чаю, ни жареной курицы за обедом. Наука там имела какой-то элегантно-веселый характер анекдотов и более или менее достоверных фактов без каких бы то ни было обобщений. В воображении юниц весь божий мир представлялся ареной для приятного препровождения генеральских дочерей, особенно если у родителей или у мужа есть хорошие средства, а для остальных скучным прозябанием с плохими костюмами и плохим выговором французского языка. В теоретическом представлении народ являлся каким-то таинственным сборищем бородатых и грязных пахарей, обязанность которых трудиться в поте лица своего и

собирать в житницы. В конкретном виде народ представлялся горничными, лакеями, кухерами и швейцарами, назначение которых не оставляло места для каких-либо сомнений. Несколько странной породой людей казались воспитанницам учителя. Их можно было обождать и в то же время нельзя было пригласить в дом и выйти за них замуж. Их надобно было уважать и слушаться и слегка презирать за дурной костюм и немодную прическу.

Выйдя из учебного заведения, Нина говорила хорошо по-французски и по-английски, довольно плохо играла на фортепьяно, знала язык цветов и несколько не совсем приличных французских романов, прочитанных тайком, и имела более чем смутные понятия о русской литературе после Гоголя.

В доме она тоже не особенно культивировалась, тем более что сам Опольев далеко не был поклонником русской литературы, особенно новейшей. Толстого он порицал, а Салтыкова так просто ненавидел. Других новейших писателей он не читал и к прессе относился с недоброжелательством за то, что она сует нос туда, куда ей не следует, и позволяет

себе судить о том, чего не понимает.

Его превосходительство, впрочем, выписывал один русский журнал и одну газету, направление которых соответствовало его взглядам. Газету он аккуратно прочитывал и изредка сам посылал редактору статейки, под псевдонимом конечно, в которых излагал свои государственные соображения.

Опольева, добродушная и не особенно далекая женщина, до сих пор влюбленная в мужа и слушавшая каждое его слово с благоговением верующей, тоже относилась к отечественной литературе с боязливой брезгливостью и, конечно, оберегала и дочь от знакомства с произведениями, в которых, как она думала, описываются все мужики да мужики или занимаются какими-то курсистками да учителями. Мать и дочь исключительно читали французские и английские романы, и многие известные русские писатели неизвестны были им даже по именам.

И, несмотря на такое полное отчуждение от действительной жизни, несмотря на самое основательное воспитание в духе полного индифферентизма ко всему, что не имеет отно-

шения к интересам маленького замкнутого кружка – так называемых сливок общества, – молодая девушка смутно чувствовала ложь этой жизни и какую-то неудовлетворенность.

Неглупая, наблюдательная и чуткая, она не могла не заметить лицемерия и фальши, угодничества и лести, поддельной наивности и двуличия, наглости и бесстыдства в погоне за положением, за богатством и полнейшего отсутствия каких-нибудь других интересов среди представителей и представительниц того общества, в котором Нина вращалась. Она видела, с какою неразборчивостью молодые барышни при помощи матерей и отцов ловили богатых женихов, а молодые люди – богатых невест, нисколько не думая о взаимной привязанности; она слышала циничные разговоры знакомых барышень о флирте и понимала, чего стоят эти условные фразы о нравственности, религии и супружеском долге в устах тех молодых светских женщин, которые яростнее всех нападали на неприличное поведение своих менее осторожных подруг, а сами...

Нет, решительно этот «свет» с его блеском

и роскошью, с удовольствиями и выставкой тщеславия обманул прежние ее ожидания и совсем не прельщал эту худенькую брюнетку с ясными, доверчивыми глазами. Она была словно бы чужая среди своих и слишком серьезна для веселящихся и довольных жизнью приятельниц и знакомых. Над ней посмеивались, называли ее оригинальной и находили, что она «trop rude». [16]

Нина не любила выездов и балов и появлялась на них больше по настоянию матери. Порой она скучала и, чтоб убить время, занялась живописью.

Мать, любившая единственную свою дочь до безумия, несколько удивлялась и ее нелюдимству и ее хандре.

«Пора Нине замуж!» – думала она и зорко присматривалась, кто из молодых людей, бывавших у них в доме, нравится дочери, но как она ни приглядывалась, а ничего не замечала.

– Тебе никто, Нина, не нравится? – спрашивала мать.

– Никто, мама...

– А Бежецкий, а Лорней, а Скуратов... разве

не хорошие и милые молодые люди...

– Так что ж из этого, мама?

– Надо тебе выходить замуж, Ниночка...

– Будто уж так надо... Надоела я тебе, что ли? – смеясь, говорила дочь.

Так и кончались подобные объяснения, и мать не знала, чем объяснить, что Нина в последние годы стала совсем не той веселой, беззаботной и любящей балы девушкой, какою была раньше.

Посещение больного «графа», ужасная история Антошки, трогательное отношение к нему того, кого все называли отвержением, – все это словно бы пробудило Нину от сна, словно бы с глаз ее сняли вдруг повязку, и она увидала, что за очарованным замком есть и другая жизнь, не та беззаботная и роскошная, но жизнь, полная лишений и страданий. Она почувствовала, что люди, которых отец беспощадно клеймил пропащими и не заслуживающими участия, далеко не такие ужасные. Напротив... И если она видела только двух таких нищих – «графа» и Антошку, то, верно, и другие заслуживают любви и милосердия...

Такие мысли бродили в голове молодой де-

вушки, и в этот день она впервые задумалась о таких вещах, о которых прежде не думала.

О, в какой ужас пришел бы отец, если бы заглянул в эти минуты в душу своей горячо любимой дочери.

XXVII

Вопрос о том, где она достанет деньги, обещанные дяде, был решен ею без колебаний. Это так просто. Зачем ей, например, брильянтовые серьги, которые подарил отец на именины. Можно вернуть их ювелиру, и он не откажется купить их.

Вернувшись домой, молодая девушка тотчас же прошла к матери.

– Ну, мама, все устроено, – возбужденно заговорила она, – тетя Мери не отнимет мальчика. Он останется при дяде...

– Ты у тети завтракала?

– Да... Тетя тебе кланяется... И ее муж... Ах, мама, если б ты знала, в каком ужасном положении дядя...

– Что с князем? – участливо воскликнула княгиня, думая, что речь идет о муже ее двоюродной сестры.

– Я не о князе... Я о дяде Опольеве... Какой он худой, худой и бледный... А какая у него комната! Маленькая, без мебели, грязная, темная...

– Да ты откуда знаешь все эти подробности?

– Я сама видела. Я только что от дяди.

– Что?! Ты была у него?! – воскликнула Опольева.

В ее красивом, моложавом, несколько полноватом лице, в ее больших глазах отразился ужас и изумление.

В самом деле, дочь тайного советника Опольева и вдруг в гостях у какого-то пропойцы-нищего. О господи!

– Чему ты так изумляешься, мама?

– И ты еще спрашиваешь, Нина?

– Да разве я сделала что-нибудь нехорошее, наведя несчастного, больного дядю?

Этот вопрос несколько смутил добродушную женщину.

– Ты поступила нехорошо относительно отца.

– Но, мама...

– Дай мне сказать... Ты ведь знала, что

отец не велел пускать этого господина и не признает его своим братом... И вдруг дочь к нему едет! Ты, значит, ни во что не ставишь мнение отца? И, не посоветовавшись со мной, одна отправляешься в какую-то трущобу... Ах, Нина, Нина... Какая это нелепая выходка!

– Во-первых, папа заблуждается относительно дяди, считая его каким-то негодяем... Он, напротив, добрый, хороший человек! – горячо проговорила Нина.

– Что ты говоришь, Нина. Разве можно осуждать отца?

– Я не осуждаю... Я говорю только, что папа не прав... Я в этом убеждена, и меня никто не разубедит... Во-вторых, я не скрою от папы, что была у его брата... Я расскажу, что видела, и папа убедится, что он заблуждается...

– Боже тебя сохрани, Нина... Не говори ничего отцу, не огорчай его... Но дай мне слово, что ты не повторишь своего безрассудства... Помогай этому несчастному, если хочешь – хотя и это уж протест против отца! – но бывать у него...

– Мама! Да что ты говоришь! – воскликнула молодая девушка, и в голосе ее звучала

грустная нотка, а глаза ее с немым укором глядели на мать. – Ты, добрая, хорошая, ты, сама заступившаяся за дядю, – помнишь, когда папа принес его письмо? – и осуждаешь меня... И за что же? За то, что я была у больного, несчастного, всеми брошенного человека? Ах, если б ты видела его! Если б ты видела, как он был тронут моим посещением... Как он чуть не заплакал от волнения...

– Но отец твой...

– Ах, мама... Твое сердце само говорит, что папа в данном случае не прав... Если бы и папа увидел этого сторбленного, исхудавшего старика с лицом мертвеца...

– Разве он так болен?

– Было воспаление легких... Простудился, выйдя на улицу в холодном пальто... Еще слава богу, что нашлись добрые люди... Одна женщина-врач лечила его, а хозяйка квартиры, какая-то прачка, содержала дядю во время болезни... И это сделали посторонние люди, а мы... родные... Ах, как это все нехорошо, мама!

И Нина взволнованно стала рассказывать матери подробности своего визита.

И по мере того как Нина передавала о своей встрече с дядей, о том, как он говорил с ней, как благодарили ее и дядя и этот мальчик, которого дядя спас от ужасной жизни у какого-то солдата, на глазах у Опольевой заблистали слезы, и она несколько раз во время рассказа повторяла:

– Ах, несчастный, несчастный!

– Вот видишь ли, мама, как все были безжалостны и несправедливы к дяде, считая его совсем дурным человеком! – возбужденно проговорила Нина, окончив свой рассказ.

– Да, Нина... Он много перенес... этот бедный Александр Иванович!

– А ведь он, мама, куда лучше многих из тех людей нашего общества, которых все принимают и уважают. Право, лучше, хоть и считается падшим. И это я поняла только сегодня, когда поговорила с ним. Так неужели так и оставить его, не выказать ему участия, не навестить его!? Ведь это было бы возмутительно, жестоко... Не правда ли?

Опольева чувствовала справедливость слов дочери.

Действительно, все родные слишком суро-

во отнеслись тогда к Опольеву. И муж был слишком неснисходителен к брату. Но муж – человек правил, принципа. Кто знает, не жалел ли он брата в душе, но и не мог отступить от принятого решения. У него есть эта черта. Но зато какой он примерный муж, какой отец!..

И Опольева без особенного труда оправдала мужа.

– Ты слишком принимаешь все близко к сердцу, Ниночка, – проговорила мать. – Я не спорю, что дядя несчастен, что он уж не такой дурной и заслуживает помощи... И я ничего не имею против того, чтоб ты помогала ему, но зачем же ездить к дяде, если отец твой не хочет знать его... Ведь он пришел бы в ужас, если б узнал о твоём посещении... А разве ты захочешь огорчать отца, который тебя боготворит... Подумала ли ты об этом?

– Но что же мне делать? Не могу же я согласиться с папой, что дядя негодяй, и никогда с этим не соглашусь. Ну хорошо, я не скажу папе о своём визите, если ты этого не хочешь, но я все-таки навещу дядю...

– Но если отец как-нибудь узнает?

– Ну что ж? Тогда я все объясню ему, все...

Этого-то и боялась пуще всего мать. О, она хорошо знала, как самолюбив ее муж и как ему неприятно всякое противоречие. А тут дочь вдруг явится как бы в роли обвинительницы отца!..

И, вдруг принимая строгий вид, Опольева сказала:

– Нина! Ты больше не поедешь к дяде. Слышишь, я тебя прошу об этом... Не заставляй приказывать.

– Мама, мне неприятно тебя огорчать, но я должна быть у дяди... Я ему обещала и исполню свое обещание! – прибавила молодая девушка, внезапно бледнея.

Этот решительный ответ всегда ласковой, кроткой Нины ошеломил Опольеву. Она решительно не знала, как ей быть, что сказать дочери, и, чувствуя, что ее авторитет поколеблен, растерянно смотрела на дочь и вдруг заплакала.

– Мама... не сердись. Ты пойми, что я не могу поступить иначе. Это не каприз! – умоляла Нина.

Кончилось тем, что Опольева, как все сла-

бые натуры, сдалась и пошла на компромисс. Она позволила Нине, когда дядя устроится несколько приличнее, раз в месяц навещать его.

– Даст бог отец не узнает об этом! – прибавил» она.

Нина с горячностью целовала мать.

– Какая ты у меня горячая, моя девочка! – говорила мать, утирая слезы. – А вот до сих пор ни в кого не влюбилась! – неожиданно прибавила она и вздохнула.

– Нет, влюбилась, мама.

– Кто он, этот счастливец?

– Дядя, мама...

– Ты вот все шутишь, а пора бы тебе в самом деле полюбить кого-нибудь...

– Еще успею, мама... Не старая же я дева. А пока я хочу поступить в общество «Помогай ближнему!», в котором тетя Мери председательница.

– Это она тебя зовет?

– Она...

– Что ж, поступай...

– А папа позволит?.. Он ведь не особенно любит благотворительных дам?..

– Ну, тетю Мери он хоть и недолюбливает, а уважает... Под ее крылом можно... Я поговорю об этом с отцом... А вечером сегодня ты в каком платье? – вдруг переменяла разговор Опольева.

– А что сегодня вечером, мама?

– Ты и забыла? Мы у Иртеньевых.

– Разве необходимо ехать?

– Ты не хочешь?

– У них такая скука, мама...

– А надо ехать...

– Почему?

– Иртеньева обидится... И то мы редко у нее бываем...

– «Что ж, ехать так ехать», – сказал попугай, когда его тащили за хвост из клетки! – смеясь, проговорила Нина и прибавила: – А в каком платье, мама, быть попугаю?..

– Надень новое, что на днях принесли. Оно к тебе идет...

– Так я его и надену... – ответила Нина и вышла из спальни.

На другой день Нина, отдавая горничной футляр с серьгами, проговорила:

– Отвезите серьги, Дуняша, к ювелиру с

этой записочкой... Только, прошу вас, никому об этом ни слова! – прибавила, краснея, Нина.

– Что вы, барышня... Ни душа не узнает...

– Он вам за них даст деньги...

– Продать их, значит?

– Ну да... Ювелир наверное купит.

– А за сколько прикажете отдать их?

– Право, не знаю... Кажется, за них заплачено триста рублей.

– Этих денег, барышня, он не даст.

– Берите, что даст. Мне очень нужны деньги.

Дуняша догадывалась, на что нужны барышне деньги. Кучер вчера рассказал ей, где была Нина и как Антошка благодарил ее.

Ей было жаль, что барышня лишается этих серег ради какого-то пьяницы дяденьки, которого недаром же генерал не приказывает принимать в дом и который, наверное, пропьет деньги, и она заметила:

– Жаль, барышня, продавать такие чудесные сережки... Не найдете ли вы что-нибудь другое?..

– За другое меньше дадут, Дуняша... Да и мне нисколько не жаль... Поезжайте, пожа-

луйста, и поскорей вернитесь.

Через час Дуняша привезла двести рублей.

– Больше не хотел давать, барышня... Да сперва и покупать не хотел.

– Почему?

– А справился в какой-то своей книжке, да и спрашивает: «Зачем, мол, дочь такого важного генерала продает свои вещи?.. Как бы, говорит, не вышло каких-нибудь неприятностей». Насилу я уговорила его, что никаких неприятностей ему не будет... Папенька, мол, знает об этом...

– Благодарю вас, Дуняша, что уговорили... А теперь я вас попрошу отвезти эти деньги к моему бедному родственнику... Я сейчас напишу только письмо.

И, присев к столу, Нина написала дяде небольшое, необыкновенно ласковое и деликатное письмо, в котором просила принять от любящей племянницы деньги и переехать в лучшее помещение, сделать себе все необходимое и непременно теплое пальто. «А то вы опять простудитесь и заболаете, дорогой дядя», – прибавила она и кончила просьбой непременно сообщить новый адрес, как толь-

ко здоровье дяди позволит ему переехать на другую квартиру.

– Передайте, Дуняша, этот конверт в руки моему дяде и кланяйтесь от меня...

– Слушаю, барышня...

– И об этом никому не говорите, Дуняша.

– Будьте покойны, добрая барышня... То-то ваш дяденька обрадуется таким большим деньгам...

– Да, для него это большие деньги теперь... А мое бальное платье триста рублей стоило. На что оно мне, Дуняша? А на эти деньги можно было бы избавить человека от нищеты! – неожиданно прибавила Нина в каком-то раздумье.

– Как на что, барышня? Вовсе даже необходимо по вашему положению! – запротестовала Дуняша, совсем не разделяя, по-видимому, такого странного мнения барышни. – Вам ежели и в тысячу рублей платье, так очень даже хорошо...

– Вы думаете, что хорошо? – улыбнулась Нина.

– А то как же... Вы такого важного генерала дочь...

– И в этом все мое право! – как будто отвечала на какие-то свои мысли молодая девушка и прибавила: – Поезжайте, Дуняша, и скорее возвращайтесь!

XXVIII

Эти двести рублей, присланные Ниной, теперь казались «графу», когда-то швырявшему тысячами, целым состоянием.

И он глядел на две толстые пачки бумажек, лежавших на его кривоногом столике, и словно бы не верил своим глазам, что такое богатство в полном его распоряжении. Он словно бы сомневался, что после долгих лет нищенства благодаря обещанным тридцати пяти рублям в месяц он может не шататься по вечерам на улицах, останавливая прохожих на разных диалектах и придумывая более или менее остроумные словечки, чтоб получить какую-нибудь монетку, и может не писать больше писем к разным родственникам и бывшим знакомым. Как ни привык он к этой жизни, с каким цинизмом нищеты ни эксплуатировал он близких, а все же эта жизнь была отвратительна.

А теперь вот еще эти деньги!

Ведь он может расстаться со своим нищенским тряпьем, внушавшим ему самому отвращение, и одеться прилично, не вызывая на улице подозрительных взглядов, может завести белье, переехать в более чистую и светлую комнату и зажить с Антошкой хорошо и уютно. У них будут кровати с хорошими тюфяками, крепкие сапоги... Они будут каждый день обедать... Антошка станет ходить в школу...

Это сознание неожиданного благополучия приводило «графа» в радостно-счастливое настроение, наполняя его сердце чувством горячей благодарности к виновнице такой резкой перемены в его жизни.

Ожидал ли он, что на склоне его жизни судьба смилуется над ним так великодушно и так таровато? Он проведет последние годы не нищим оборванцем и не один как перст, а с этим славным и добрым мальчиком, который заставил его вновь полюбить жизнь.

И «граф» проговорил, обращаясь к Антошке, который тоже очарованными глазами глядел на такое количество денег:

– А ведь все это точно в сказке, Антошка!

– В какой сказке, граф? – переспросил Антошка, не понимая, что хочет сказать «граф».

– Не называй ты меня графом, братец. Теперь уж я, слава богу, не граф, а опять Александр Иванович Опольев!

– Слушаю, Александр Иванович! – проговорил сконфуженно Антошка и словно бы и сам понял, что теперь не следует называть Опольева нищенским прозвищем «графа».

– Ты знаешь, что такое сказка?

– Небылица, значит.

– Ну так вот, в сказках обыкновенно случается так, что нищий вдруг оказывается принцем, а дурак – умным...

– Зачем же это?

– А затем, мой мальчик, чтобы утешать нищих и дураков... В действительности же такие превращения бывают очень редки... А вот с нами это случилось... И если по правде говорить, то как же нелепо, как и в сказке... Следовало бы по-настоящему мне остаться таким же нищим, каким я был, и выходить на работу вот в этом самом пальтишке и... вдруг...

«Граф» вместо окончания фразы взял сво-

ей исхудавшей рукой одну из пачек и потряс ее в воздухе...

– Не правда ли, Антошка, удивительно, что мы с тобою вдруг сделались принцами? – прибавил «граф».

Но Антошка в качестве большого почитателя «графа» горячо протестовал и находил, что так следовало быть. Нельзя же, чтобы такой человек безвинно терпел... Еще если бы какой-нибудь простой, а то настоящий господин, у которого такие важные и богатые сродственники.

– Положим, не безвинно, Антошка, помни это раз навсегда... Не в этом, впрочем, дело, а в том, что богатые и важные «сродственники», как ты выражаешься, совершенно спокойно оставили бы меня умереть нищим, считая – и не без некоторого основания, – что я пропавший человек, а такому человеку помочь не следует, а надо его скорей забыть... и шабаш. И так бы я и окошел где-нибудь на улице от неизвестной причины, – так, Антошка, в газетах пишут, когда умирают нищие, – если б не эта добрая девушка... Она одна пожалела... Одна среди всех... Пожалела и пове-

рила, что я тогда обратился к ее отцу за помощью не для того, чтобы пропить деньги, а для того, чтобы тебя одеть... Не будь такой девушки, и не были бы мы принцами, и ходил бы я опять по вечерам на работу... просить милостыню. Понял?..

– Понял, Александр Иванович...

– А что из этого следует, сообразил?

– Невдомек что-то, Александр Иванович! – добросовестно признался Антошка.

– А то, что надо рассчитывать только на себя самого. Мне-то уж поздно, а ты, Антошка, не забывай этого.

– Известно, сам трудись, ежели ты бедный! – подтвердил и Антошка.

– Да, удивительно, как эта девушка такая жалостливая у такого безжалостного отца и в такой среде! – продолжал философствовать «граф», словно бы отвечая на занимавшие его мысли. – Непостижимо! – прибавил он.

– Сердце, значит, доброе у барышни... Я так полагаю, Александр Иванович.

– Это ты верно полагаешь, но доброго сердца еще мало... Надо понимать... Вот, например, Анисья Ивановна понимает, какво бед-

ному человеку, и при своем добром сердце нас с тобою и кормила и поила, когда я был болен... Из последних крох отдавала... Вот и докторша... Она тоже знает, как трудом достается кусок хлеба, и... пожалела, братец, нищего... лечила и ухаживала за мной, зная, что не получит ни гроша... И вино носила... Она и жалела и понимала, а племянница...

– Да разве она не понимает, что ежели нет ни одежды, ни пищи, то хоть пропадай! Всякий, кажется, понять это может. Не трудная штука!

– То-то, самая трудная эта штука и есть! – категорически отрезал «граф».

– Что-то чудно вы говорите, Александр Иванович...

– И я был не злой, когда богат был, а не понимал этой штуки и никогда прежде о ней не думал... Дашь под пьяную руку пять рублей и забыл... А где же об этой штуке думать барышне, для которой жизнь – точно сплошной праздник?.. Сегодня в гости, завтра в гости, по балам да по театрам... Да и не знает она, что значит не обедать и как это есть люди, которые не обедают.

– Ну?.. Обученная и не знает?.. – усомнился Антошка.

– Этому, Антошка, не везде учат... И меня этому не учили, и, наверное, племянницу не учили... Если бы учили, может и я не истратил бы глупо огромного состояния... Учили другому, что совсем не нужно. А вот она, племянница, и не училась этому, а как горячо приняла к сердцу нашу беду, Антошка... Не то что пожалела да кинула подачку – нет! И сама приехала, и пенсию назначила, и деньги на обзаведение прислала... И не оставит она нас с тобой... Не такая... То-то и удивительно!

– И простая какая, Александр Иванович... Со всем непохоже, что дочь важного генерала...

– Дда... И, может, еще потерпит она за свою доброту...

– От кого?

– От отца, от матери...

– За то, что помогла родному дяде? – изумился Антошка.

– Именно за это самое! – усмехнулся «граф». – Ты слышал, как ее горничная призналась, что барышня серьги свои продала, чтоб прислать мне эти деньги.

– У нее, должно быть, много этих серег...

– Много не много, а она, значит, сделала это по секрету... Если узнают родители – ей будут неприятности... О милая, светлая душа! – воскликнул «граф» в каком-то восторженном умилении.

– Ругать будут, что ли? – поинтересовался Антошка.

– Будут говорить, что она поступает безрассудно, что помогает пропойце... Известно, что говорят люди о нищих... А ты, Антошка, – с неожиданною торжественностью прибавил «граф», обращаясь к мальчику, – никогда не забывай этой диковинной барышни и помни, что если мы с тобою заживем хорошо, то обязаны этим ей... Такие барышни очень редки среди тех, которых ты зовешь «важными графинями и княгинями». Не забудешь?

– Никогда не забуду, Александр Иванович! – с чувством проговорил Антошка.

– То-то... Ты у меня признательный мальчик... Это, братец, хорошая черта... Ну, а теперь зови Анисью Ивановну... Надо с ней рассчитаться...

Добрая женщина обрадовалась от всей ду-

ши, узнавши, какую значительную сумму прислала племянница ее жильцу, и поздравила его.

– На экипировку прислала и вообще на обзаведенье... Комната, говорит, темная и маленькая... Требует, чтоб я перебрался от вас, Анисья Ивановна! – объяснял «граф».

– Уж какая же это комната... В такой ли вам жить!..

– И в трущобах жил, Анисья Ивановна, всего бывало... Но только я должен вам сказать, что мне очень грустно расстаться с вами, Анисья Ивановна... Я испытал на себе, какая вы добрая женщина... Знаю, кто содержал меня во время болезни, и, поверьте, никогда этого не забуду...

– Ну, что вы, что вы, батюшка Александр Иванович! – говорила смущенная хозяйка. – Отчего и не поделиться чем можешь... У всякого человека бывает нужда...

– Да только не всякий делится... Ну, не будем об этом говорить... Сколько я вам должен?

– Восемь рублей, Александр Иванович, да за комнату пять, всего тринадцать рублей.

– Только-то?.. Уж что-то слишком мало!

– Да за что же я с вас буду брать лишнее?..

Вот и счет на восемь рублей, что во время болезни трчено... Чужого я не хочу... Я, слава богу, крещеная...

– Видно, очень добрый поп вас крестил, Анисья Ивановна, – усмехнулся Опольев. – Вот извольте получить ваши тринадцать рублей...

– Да вы счете-то просмотрите.

– Ваш счетец и просматривать не надо, – сказал «граф», разрывая счет с небрежностью джентльмена, и прибавил: – А как я поправлюсь и стану выходить, то позволю доставить себе удовольствие, Анисья Ивановна, поднести вам маленький подарочек в знак глубокой моей благодарности...

Анисья Ивановна, совсем тронутая и обещанием подарка и такою деликатною формою выражения, начала было протестовать, но Опольев остановил ее словами:

– Надеюсь, вы не захотите обидеть меня отказом, Анисья Ивановна?

– Помилуйте, Александр Иваныч... Я простая женщина, а вы...

– А я... нищий барин, которого вы пожалели! – перебил «граф». – Ну и об этом не станем больше разговаривать, а перейдем к следующему вопросу. Надеюсь, вы не откажетесь стирать мне белье, когда я его заведу?

– С большим удовольствием, Александр Иваныч!

– Но дело в том, что я думаю поселиться на Васильевском Острове... там, знаете ли, и уединеннее, и воздух лучше... Особенно летом... И сады... и Петровский парк близко, – говорил «граф», наметивший эту местность вовсе не потому, что там «воздух лучше», а главным образом по той причине, что эта часть города никогда не бывала целью его вечерних экскурсий и там не могли узнать в нем прежнего нищего. – Так не далеко ли вам будет ходить за бельем?..

– Совсем не далеко... И у меня есть на Острове один давалец...

– Ну, значит, и отлично... И я всегда буду рад видеть вас и попотчевать вас чем могу.

– А вы когда думаете перебираться. Александр Иваныч?

– А вот как сил прибавится...

– То-то вам надо поберечься. Долго ли опять простудиться.

– И докторша запретила рано выходить... Ну да теперь у меня будет теплое пальто! – проговорил «граф» с радостной, почти ребячьей улыбкой. – Через недельку я и выйду.

XXIX

«Граф» быстро оправлялся от болезни, к радости Антошки, замечавшего, что Александр Иванович не такой уж худой, каким был после болезни. И ел он хорошо, и спал крепко, был в веселом настроении духа и ждал с нетерпением ясного дня, чтоб отправиться за покупками.

Докторша, совсем неожиданно навестившая Опольева под деликатно сочиненным предлогом, что была у больного в этом же доме, осмотрела его и нашла, что он совсем молодцом.

– Только вам беречься нужно... Не простудиться опять...

– Не простужусь... Теперь я буду тепло одет и мне не придется проводить время на улицах, рискуя новым воспалением легких...

– Дела ваши, значит, поправились? – осторожно спросила докторша.

– Добрая фея явилась ко мне, как это ни странно в нынешние времена, когда никто не верит в фей, так они редки, эти добрые феи. И, однако, нашлась одна в лице моей племянницы... дочери известного Опольева... Вы, верно, слышали эту фамилию?.. Ну, разумеется.

И Опольев не отказал себе в удовольствии подробно рассказать докторше о своей племяннице и превознести до небес ее доброту и участие.

– А отец меня давно приказал не пускать на порог. Заметьте это! – прибавил он, усмехаясь. – Нельзя же в самом деле принять нищего... в таком великолепном доме, как у него!..

– Какая чудная девушка! И как я рада за вас! – горячо воскликнула докторша.

– Спасибо... Оттого-то я и позволил отнять у вас пять минут времени, что на себе испытал ваше участие и доброту. Я знал, что вы порадуетесь о том, что и в той среде, где только думают о себе, являются такие чистые души, как эта девушка... Только выдержит ли она?.. Не заклюют ли ее?

– Однако вы скептик...
– Жизнь не приучила к восторгам.
– Но теперь вы, конечно, не так уже мрачно смотрите на тот круг, к которому принадлежали? – спрашивала докторша, заинтересованная этим странным человеком.

– Отчего же теперь?.. Оттого, что я не буду нищенствовать – вы ведь знаете, конечно, мою бывшую профессию? Но ведь тысячи отверженцев, заслуживающих еще большего участия, чем ваш покорный слуга, по-прежнему не возбудят ни малейшего участия в тех людях, которые могли бы помочь им... Исключение не правило. Одна ласточка весны не делает...

«Граф» вспомнил все то, что он видел и чему научился во время своей скитальческой жизни, и, довольный, что может высказаться и излить свою душу перед человеком, который его поймет, продолжал, указывая на Антошку:

– Если вот этот мальчик благодаря случаю, быть может, спасен от нищеты, тюрьмы и преступления, то разве мало гибнет таких же несчастных, обреченных на все это... О добрая

госпожа докторша, я насмотрелся на этих жертв... Да и вы должны их знать... А они, эти господа, отделяются грошовой филантропией да приютами, и больше для удовлетворения тщеславия... Да... как вам ни покажется странным, а я, отставной штабс-ротмистр Опольев, терпеть не могу то самое общество, которое само меня погубило и первое же отшатнулось от меня... И если бы мне сказали, живи между ними опять, я не пойду... Черт с ними!.. Однако извините, госпожа докторша, я решительно делаюсь болтуном, пользуясь вашей снисходительностью, – оборвал Опольев.

И хотя докторша и говорила, что у нее есть время и что ей очень приятно поговорить, но Опольев замолк.

Прощаясь, докторша снова повторила, что надо беречься.

– И не одной простуды! – значительно прибавила она.

– А чего же еще?

– Всяких излишеств. Например, пить вам, безусловно, нельзя...

– Я с этим покончил! – промолвил граф.

– И отлично...

– А мне можно выходить?

– Только не сегодня, а когда будет лучше день... Прощайте... От души желаю вам всего хорошего...

– Прощайте... Спасибо вам за все, за все...

– Прощайте, Антоша.

Когда докторша ушла, Антошка проговорил:

– Вот и жидовка, а какая хорошая!..

– А ты думаешь, что жида должны быть нехорошие?..

– А то как же? Известно, жида... Все их ругают.

– Между всеми людьми есть, брат, и хорошие и дурные люди... А если жидов все ругают, то из этого еще ничего не следует. Люди часто бывают несправедливы и злы... Вот и меня все ругают, а разве я уж такой дурной?

– Что вы, Александр Иванович...

– Ну вот, видишь ли. И знаешь еще что, Антошка? Ты всегда своим умом смекай, а не повторяй того, что говорят другие!

Дня через три погода выдалась хорошая. Стояло ясное морозное утро, и после чая

«граф» с Антошкой отправились за покупками.

– Вы нас не ждите к обеду, Анисья Ивановна. Мы сегодня с Антошкой кутить будем! – весело проговорил «граф».

Они сели в сани и скоро доехали до Марининской линии, где Опольев рассчитывал купить теплое пальто. Оно было тотчас же куплено, это давно желанное пальто на каком-то меху, с барашковым воротником. Оно имело вполне приличный вид и грело отлично. Выйдя из лавки в пальто и в барашковой шапке, «граф», несмотря на мороз, чувствовал приятную теплоту и испытывал счастливое состояние удовлетворенности. После пятнадцати лет у него наконец теплая одежда! Он радовался, как ребенок, и весело говорил Антошке:

– Да, брат... Славная это штука меховое пальто...

– Прекрасное у вас пальто, Александр Иванович.

– Ты находишь?

– Очень даже нахожу.

– И я нахожу, что недурное и греет отлич-

но.

Вслед за тем были куплены и надеты новая пара платья, сапоги, теплые калоши и перчатки. Теперь «граф» был решительно неузнаваем и глядел совсем барином. И походка у него стала будто тверже и увереннее, и стан выпрямился... Антошка только глядел и восхищался.

– И какой же вы важный теперь стали, Александр Иванович! – говорил Антошка.

Они зашли в парикмахерскую. «Граф» велел подстричь себе волосы и бороду и вышел оттуда значительно помолодевшим.

– Ну, теперь пойдем завтракать, Антошка...

Они зашли в ресторан. Лакеи предупредительно спрашивали «графа», что он прикажет.

– Видишь, Антошка, что значит платье, – усмехнулся «граф», заказав завтрак, – зайди я в прежнем платье, так, пожалуй, и не пустили бы, а теперь... юлят, подлецы...

«Граф» выпил рюмку водки, потом другую и хотел было выпить третью, как Антошка робко заметил:

– Не вредно ли вам будет, Александр Ива-

ных?

«Граф» несколько смутился и сказал:

– Ты прав, Антошка... Спасибо... И впредь останавливай меня... Лучше спросим полбутылки красного вина... Это будет полезно... И ты можешь выпить немного... Человек! Полбутылки бордо... Да подогрейте, пожалуйста! – обратился «граф» к лакею.

Заиграл орган, и Антошка пришел окончательно в восхищение и от вкусного завтрака, и от полустакана вина, и от музыки, и от того, что его покровитель такой представительный в своем новом платье, такой веселый и довольный...

После завтрака они отправились снова в лавки и вернулись домой только в четвертом часу с огромной корзиной, полной всякого добра. А дома уже принесены были две железные кровати с мягкими матрацами.

– Ну вот и мы! – весело говорил «граф» встретившей их Анисье Ивановне.

– С покупками, Александр Иванович! И какой же вы, можно сказать, нарядный, Александр Иванович! – воскликнула хозяйка, когда разглядела при свете лампы костюм Ополье-

ва.

Теперь эта комнатка показалась Опольеву еще мрачнее и теснее.

– А вот и вам позвольте поднести, Анисья Ивановна! – проговорил «граф», подавая квартирной хозяйке штучку шерстяной материи.

– Ах, что вы! Зачем такое дорогое! – говорила, тронутая подарком, Анисья Ивановна, рассыпаясь в благодарностях.

– Полноте, Анисья Ивановна... И шелковое купил бы, если б мог... Да вот бодливой корове бог рог не дает... Ну-с, обмундировались мы вполне с Антошкой... И платья и белья – всего накупили... Не угодно ли взглянуть, хорошо ли белье... Вы толк в белье понимаете?

Открыли корзину, и Анисья Ивановна одобрила белье... Все было очень хорошо, и всего было довольно для обоих.

– Что, много вы истратили денег-то? – любопытствовала Анисья Ивановна...

– Сто с чем-то... Еще на запас осталось... Кое-что еще надо купить... Там видно будет на новой квартире... Ну, а теперь самоварчик, да пожалуйста к нам чай пить, Анисья Ивановна.

На следующее утро в одной из дальних линий Васильевского Острова была приискана светлая, довольно приличная комната от жильцов, вдовы старухи чиновницы с дочерью и с сыном, технологом-студентом, и в тот же день, после горячего прощания с Анисьей Ивановной, прежние ее жильцы отправились на новую квартиру...

Когда они ехали по Васильевскому Острову, Антошка вдруг дернул «графа» за рукав, указывая на вереницу девочек, которые выходили попарно из подъезда.

– Александр Иваныч! Анютка! – радостно воскликнул Антошка. – Как она попала сюда?.. Что это за девочки?

– Они в приюте, куда и тебя хотела поместить княгиня.

– А Анютку можно увидеть?.. Можно к ней прийти?

– Я думаю, можно... Мы навестим ее...

– То-то... Каково-то живет Анютке?..

– А вот расспросим... И снесем ей чего-нибудь...

– Это хорошо... А то кормят поди не очень! – заметил Антошка, питавший к прию-

там благодаря княгине сильную ненависть.

К вечеру жильцы устроились на новой квартире и рано легли спать. Эти мягкие матрацы, чистое белье, теплые новые одеяла, этот уют и теплота комнаты – все это казалось прежним горемыкам чем-то необыкновенно хорошим и приятным, каким-то земным раем.

Оба они заснули с радостными мыслями о предстоящей им новой жизни.

XXX

Несколько месяцев пролетело для «графа» и Антошки совсем незаметно.

После многих лет «собачьего» существования, полного лишений, бродяжничества и всяких неожиданностей, им обоим было особенно приятно несколько монотонное однообразие регулярной жизни людей, более или менее обеспеченных, не заботящихся о завтрашнем дне.

И какое счастье испытывали оба эти горемыки, живя по-человечески, в теплой, светлой, опрятной комнате, одетые в приличный костюм, обутые, умытые, в чистом белье, не

чувствующие себя какими-то отверженцами.

Теперь они никого не боялись.

Теперь им не для чего было выходить на работу, за добычей, не всегда верной и обеспечивающей обед, незачем было зябнуть на холоде или мокнуть на дожде в отрепьях, выслеживая сердобольных или подгулявших людей.

Все это казалось им давно прошедшим, хотя ни «граф», ни Антошка не забывали его и при случае вспоминали о нем.

Теперь благодаря счастливой случайности – доброй девушке, встретившейся на их тернистом пути, – они ежедневно, и даже в определенные часы, пили чай со свежими булками, не рассчитывая, хватит ли куска сахара на несколько стаканов, и обедали настоящим образом: не объедками и отбросами закусочных, а получали от квартирной хозяйки – видимо, порядочной женщины – два сытных блюда, приготовленных из свежей провизии.

И с каким удовольствием и «граф» и Антошка ели эти обеды!

Антошка считал себя счастливейшим че-

ловеком на свете и давно простил и «дяденьку» и «рыжую ведьму», после того как «граф» объяснил как-то ему, почему на свете существуют и «дяденьки» и «рыжие ведьмы». Настоящее было очень хорошо, но будущее представлялось еще светлее и лучезарнее и, конечно, нераздельным с «графом», преданность к которому благодарного мальчика не знала границ. Он нередко мечтал о том времени, как он обучится всему, чему нужно, и будет зарабатывать хорошие деньги. То-то они заживут тогда вдвоем, не нуждаясь более ни в чьей помощи!

И Антошка нередко открывал свои мечты «графу». И «граф», слушая болтовню мальчика, тихо улыбался и, казалось, тоже верил этим мечтам. Ему так хотелось им верить!

Те тридцать пять рублей, которые каждое первое число привозила дяде племянница, казались и «графу» и, разумеется, Антошке едва ли не большим состоянием, чем Ротшильд у его миллионы, и бывший мот, спустивший в молодости целое состояние, теперь обнаруживал такое умение справляться с бюджетом, был столь бережлив и аккуратен, что его та-

лантам мог бы позавидовать любой министр финансов.

Получаемых денег хватало не только на все необходимое для обоих, но даже для некоторых предметов роскоши – на рюмку, одну только рюмку водки перед обедом, на покупку дешевого табаку, вчерашней газеты и, по праздникам, лакомств для Антошки и Анютки, которую они навещали в приюте.

Кроме определенной ренты, у предусмотрительного «графа» был еще и запасный капитал в пятьдесят рублей, отложенных из денег, полученных на обзаведение, который предназначался на экстренные расходы и в то же время был подспорьем на черный день. Мало ли что могло случиться?

Подобная бережливость «графа» объяснялась главным образом его воздержанием от спиртных напитков. Сознание принятых им на себя обязанностей относительно горячо им любимого мальчика заставило его обратить серьезное внимание на предостережение докторов, и он решительно перестал пить и только позволял себе одну рюмку перед обедом.

О, как ему хотелось теперь жить, как хоте-

лось поднять на ноги своего любимца, и как он внимательно стал теперь относиться к своему здоровью, чтоб быть полезным Антошке.

И как он был благодарен Нине, которая явилась доброй феей под конец его горемычной жизни!

Когда она навещала его, он был несказанно рад и словно бы гордился тем, что вера молодой девушки в него не только не поколебалась, но, напротив, крепла. Она могла окончательно убедиться, что он не пропавший человек и не пропивает ее денег. И Нина действительно привязалась к дяде, случалось, просиживала у него более часа, и мнения дяди находили более отклика в ее сердце, чем мнения ее отца.

Нина уезжала от дяди еще более душевно смятенная под впечатлением его озлобленных и страстных речей, в которых она скорее чувствовала, чем понимала, долю истины. И жизнь дома казалась ей еще более бессодержательною. Даже и усердная деятельность в обществе «Помогай ближнему!» не удовлетворяла ее, особенно после рассказов дяди о том,

как обманывают благотворительных дам и какие люди в большинстве случаев пользуются их помощью.

А «граф», провожая свою гостью, горячо целовал ее и благодарил ее за то, что она навестила, и за деньги.

С тех пор как «граф» зажил в благополучии, он с особенною ретивостью предался педагогической деятельности, имея в Антошке весьма способного ученика. Ему непременно хотелось, чтобы Антошка поступил в какую-нибудь ремесленную школу и имел бы в будущем верный кусок хлеба. О выборе такой школы уж он советовался с студентом-технологом, сыном квартирной хозяйки, и решено было, что к осени Антошка поступит в школу при одном из заводов на Васильевском Острове. Нужно было только подготовить мальчика надлежащим образом.

Каждое утро после чая и после внимательного прочтения вчерашней газеты «граф» занимался с Антошкой два часа, после которых учитель, по-видимому, утомлялся гораздо более, чем ученик. Антошка читал вслух, писал с прописи и под диктовку. «Граф» поправлял

чтение и – чтобы показать, как надо выразительно читать, – сам прочитывал иногда страничку-другую хрестоматии, приобретенной для Антошки в числе других учебных пособий. Читал «граф» недурно, и Антошка заслушивался, как складно выходили у «графа» басни. Но зато при исправлениях диктовки учитель, по-видимому, не особенно доверял себе и постоянно справлялся с книгой, причем не умел удовлетворять любознательности ученика, когда тот задавал вопросы: почему надо писать, например, «того», а не «тово».

– Так, братец, следует писать, а я и сам не знаю почему! – добросовестно признавался «граф».

– Разве вас этому не обучали? – удивился Антошка, полагавший что «граф» должен все знать.

– Наверно, обучали, да я забыл. После тебе объяснят в школе, а пока запоминай, как в книге написано. Так и пиши.

«Граф», впрочем, купил грамматику и проштудировал ее, после чего уж мог давать некоторые объяснения, хотя далеко не на все вопросы любознательного Антошки.

Тем не менее он делал большие успехи: читал весьма недурно и писал довольно красиво, и ошибки его не особенно резали глаз. И «граф» не раз выражал одобрение, чем доставлял Антошке большое удовольствие. Вне классных занятий Антошка просто-таки пожирал книги, которые ему покупал «граф», руководствуясь в выборе указаниями студента и его сестры. Таким образом, Антошкой были прочитаны многие издания «Посредника» и «Комитета грамотности» [17], и затем он читал все, что попадалось ему под руку: и газеты и книжки, которые одолживались «графу» с хозяйской половины.

Хотя и далеко не систематическое, но чтение это вместе с беседами «графа» быстро развивалимышленного Антошку, уже хорошо подготовленного ранним знакомством с жизнью и с людьми благодаря прежним его профессиям – нищенки и торговца спичками, и он хотел как можно скорее «всему научиться».

Увы! В арифметике Александр Иванович был еще менее силен, чем в грамматике, и напрасно он усердно прочитывал учебник. Он

сознавал, что понимает в нем очень мало, и это весьма огорчало его, тем более что Антошка обладал блестящими математическими способностями и умел делать все четыре правила куда лучше своего учителя.

Но в этих затруднениях «графу» совершенно неожиданно помог молодой студент-технолог.

Его комната была рядом с комнатою жильцов, и до него иногда долетали и философские беседы и арифметические объяснения учителя. Он сильно заинтересовался и этим оригинальным «барином-демократом», и его сожителем, вопросы которого во время уроков ставили нередко в тупик учителя, и вообще их отшельнической жизнью и взаимной привязанностью.

Кто они? Что их связало? – об этом никто из семьи не знал. И старый барин и его мальчик редко показывались, держали себя необыкновенно скромно и тихо и выходили со двора почти всегда вместе. Молодая горничная Агаша, прислуживавшая жильцам и носившая им обед в комнату, не могла нахвалиться ими, особенно старым барином.

Такой ласковый, никогда без нужды не беспокоит, никуда не пошлет – не то что прежние жильцы.

– А этот мальчик, должно быть сын его! – докладывала Агаша свои предположения бабыне, пожилой, когда-то красивой женщине с сбитым набок чепцом, вечно занятой то на кухне, то чинившей белье, то убиравшей комнаты.

– Совсем он не похож на него, Агаша. Верно, приемыш! – отвечала госпожа Никифорова и прибавила: – А впрочем, бог их знает! Жильцы они тихие, спокойные, и слава богу! А до остального нам дела нет.

Прошел месяц после переезда жильцов, и молодой студент, сухощавый блондин с серьезным лицом и вихрастой головой, встретив однажды Опольева в коридоре, подошел к нему и, поклонившись, проговорил молодым баском:

– Студент Никифоров.

– Опольев! Очень приятно! – любезно отвечал Александр Иванович, протягивая руку.

– Вам, кажется, несколько затруднительно заниматься математикой с вашим сожите-

лем? – продолжал студент несколько резким, умышленно грубоватым тоном.

– И даже очень, молодой человек, – несколько сконфуженно проговорил «граф». – А вы почему это догадались? – прибавил он.

– За стеной слышно...

– Быть может, мы вам мешаем?

– Я не к тому... Я, видите ли, готов избавить вас от этих уроков и позаняться с мальчиком... Он очень способный...

Видимо обрадованный и несколько удивленный таким предложением, «граф», однако, поспешил ответить:

– Премного вам благодарен, господин Никифоров, но я должен предупредить вас, что, к сожалению, я не в состоянии заплатить вам настоящей платы за уроки... Так, если небольшую плату...

– Да мне никакой платы не нужно... С чего это вы взяли? – перебил студент и сконфуженно покраснел.

– То есть почему же не нужно?

– А так, не нужно, вот и все. В противном случае разве стал бы я навязываться...

– Но позвольте, молодой человек; у вас вре-

мя дорогого, я знаю. За что же вы будете терять его даром?

– Это уж мое дело.

– И, позволю себе заметить, вы ведь, кажется, и сами не очень-то богаты?

– И вовсе даже не богат! – рассмеялся студент, и лицо его при смехе сделалось необыкновенно добродушным.

– Потому-то вы, вероятно, и предлагаете учить моего Антошку gratis? [18] – усмехнулся, в свою очередь, и Опольев.

– Потому ли, или не потому, не все ли вам равно? Следовательно, и говорить об этом нечего. Не так ли Александр Иванович?

– Пожалуй, что и так! – протянул, улыбаясь «граф». – А ваше имя и отчество? – осведомился он.

– Николай Алексеич.

– И я, Николай Алексеич, могу только поблагодарить вас! – горячо проговорил Опольев, пожимая руку студента. – Вы это очень деликатно делаете доброе дело... Спасибо вам за Антошку...

– Не за что благодарить! – ответил студент, несколько удивленный порывистостью и сер-

дечностью тона этого «барина-демократа». – Самое обыкновенное дело! Так с завтрашнего дня мы начнем заниматься с вашим Антошкой... Ежедневно один час после обеда у меня свободен... Посылайте его ко мне... А затем до свиданья... Спешу на урок...

И с этими словами студент крепко пожал руку Опольева и, кивнув вихрастой головой, хотел было уходить, как внезапно спросил:

– Надеюсь, вам не родственник этот известный Опольев?

– Этот прохвост мой родной братец.

Студент издал восклицание не то удивления, не то сожаления.

– Но только я с ним вовсе не знаком... Я, видите ли... А впрочем, не смею вас задерживать... Когда-нибудь я сообщу вам биографические данные о своей особе, чтобы вы знали, с кем имеете дело! – прибавил «граф», делая студенту прощальный жест рукой.

Вернувшись в свою комнату, Опольев весело воскликнул, обращаясь к Антошке:

– Ну, брат, тебе решительно везет!.. У тебя будет настоящий учитель. Он тебя обучит арифметике по-настоящему, не то что я...

– Кто это?

– А сын хозяйки... студент. Даром предложил учить; говорит, что ты способный мальчик... Слышал за стеной, как мы с тобой занимались... Смотри, Антоша, старайся!

– Еще как буду стараться, Александр Иванович!

– А добрый этот технолог, хотя и смотрит букой и напускает на себя серьезность. Не то что эти нынешние университетские студенты, особенно франты... Никто из них никогда не одалживал мне ни одной монетки... Я это хорошо помню. Еще издеваются. «Мы, мол, сами у вас бы заняли!», или, бывало говорят: «Если есть сдачи со сторублевой, то получите пятачок займы!..» Одним словом, совсем готовые молодые мерзавцы...

– И у меня, Александр Иванович, редко-редко когда студент покупал бумаги или конвертов... Разве какой-нибудь бедно одетый студент...

– А вот этот, сейчас видно, человек... И вся семья их, кажется, добрая...

– То-то и мне сдается, что они добрые... И хозяйка сама и барышня... Третьего дня я

встретил хозяйку в коридоре...

– В коридоре, Антоша! – поправил «граф».

– Встретил, говорю, в коридоре, а она так ласково посмотрела на меня и спрашивает: «Что, мол, доволен, мальчик, моей стряпней?..» Небось злая какая так бы не смотрела и не спросила бы...

– Умозаключение вполне правильное! – протянул, улыбаясь, «граф». – Что ж ты ответил?

– Ответил, что очень даже довольный пищей и вообще всем... «Ну я, говорит, очень рада!» А барышня так раз даже спрашивала, отчего я такой маленький и здоров ли я... Тоже ласковая... Куда только это она каждое утро с книжками из дому уходит...

– На Высшие курсы... Такое, братец, заведение есть для барышень, вроде университета. Окончат они ученье в гимназии и потом, если пожелают, могут на курсы... Там еще больше научатся...

– Ишь ты! И зачем им столько учиться, барышням? – полюбопытствовал Антошка.

– Тоже и барышне иной раз нужно себе достать кусок хлеба... Не вышла замуж, смот-

ришь, и не пропала: пошла в учительницы или в гувернантки. Ту, которая больше знает, скорее возьмут на место.

– Значит, из небогатых... Наши хозяева тоже небогатые?..

– Небогатые. Все они в трудах живут... И брат и сестра учатся да еще уроки дают... да мать, верно, получает какой-нибудь пенсией за службу мужа... Так и живут, один другому помогают.

Вскоре и «граф» и Антошка благодаря посредству студента, которому «граф» счел нужным сообщить некоторые биографические подробности о себе и об Антошке, познакомились с семьей Никифоровых. Вся семья отнеслась к жильцам очень тепло и участливо. Под конец третьего месяца жильцы уж обедали вместе с хозяевами и, случалось, по приглашению заходили пить чай. Эта семейная обстановка необыкновенно приятно действовала на прежних бродяг, тем более что семья Никифоровых была дружная, хорошая семья, все члены которой бодро и стойко несли тяготу жизни, стараясь помочь друг другу.

И сама хозяйка, эта милая хлопотунья Ан-

на Васильевна, обожавшая своих детей, всегда за какой-нибудь работой, всегда добродушная и веселая, несмотря на заботы, как-то сумевшая после смерти мужа поднять детей, испытывая лишения и урезывая себя до последней крайности, и ее дочь Вера, кончавшая курс и в то же время бравшая, ради заработка, работу, – красивая, стройная брюнетка лет двадцати шести, с строгими чертами несколько трагического лица, необыкновенно добрая, несмотря на свой, по-видимому, строгий и холодный вид, и студент Николай, вихрастый и не особенно красивый, близорукий блондин в очках, признающий одну науку и больше ничего, – все они, ближе ознакомившись с жильцами и узнавши от Антошки, что сделал для него этот «граф», отнеслись к ним с сердечностью добрых людей, понимающих нужду, и считали их как бы своими. А студент просто-таки был в восторге от своего ученика – до того Антошка поразил его своею понятливостью и быстротой математического соображения.

И как был доволен старый бродяга «граф», проводя вечера среди этой честной, работа-

щей семьи, в которой – он это чувствовал – никто не ставил в вину его прошлого. В этой маленькой комнате, служившей и гостиной и столовой, за круглым столом, на котором тихо напевал свою песенку самовар, он, случилось, вел споры со студентом и философствовал, вызывая удивление своими необыкновенно меткими суждениями, выработанными тяжелой жизнью.

И, возвращаясь с Антошкой от хозяев, «граф» нередко говорил:

– Ты мне счастье принес, Антошка... Не будь тебя, не видать бы мне, мой друг, таких хороших дней... Молчи... Я верно говорю! – смеясь, прибавлял он, видя, что Антошка хочет протестовать против такого утверждения.

И, с удовольствием потягиваясь на мягкой постели, иногда произносил в виде сентенции:

– Да, есть-таки хорошие люди на свете!

И как бы для большего убеждения старого озлобленного скептика, что действительно есть добрые люди, однажды Вера Алексеевна предложила ему работу.

Он не верил своим ушам.

– Мне? Работу? Что ж я сумею сделать? – как-то беспомощно произнес Опольев с грустной усмешкой.

– Отлично сумеете, я уверена. Работа не трудная, но только кропотливая. Надо переписывать статистические таблицы. Хотите попробовать, Александр Иванович?

– Еще бы не хотеть!

О, эта девушка отлично понимала психологию человеческой души и знала, как приободрить и поднять бывшего пропойцу и нищего в его собственных глазах.

– Но как же вы сами, Вера Алексеевна? Хотите лишиться себя работы, чтоб дать мне? – спрашивал «граф», стараясь под шутливым тоном скрыть свое волнение.

– И не думаю. Мне дают этой работы сколько угодно.

– В таком случае, я попробую на старости лет что-нибудь заработать...

И «граф» на другой же день засел за работу, кажется в первый раз во все время своей жизни.

И как же он работал. С каким благоговейным усердием. Эта была не работа, а какое-то

священнодействие.

Через несколько дней он переписал несколько листов, и когда Вера Алексеевна, проверив его работу, нашла ее превосходной, «граф» радовался, как малый ребенок.

Десять или пятнадцать рублей заработка у него были обеспечены, пока ему служили глаза и не очень дрожали руки.

Мог ли «граф» когда-нибудь думать, что и он на что-нибудь годен?!

И это сознание, что он не совсем беспомощен, значительно подбодрило его, и он говорил Антошке:

– Вот, брат, у нас и непредвиденный доход будет. Ведь это недурно, а?

– Очень даже хорошо, Александр Иванович, но только...

– Что только?

– Очень уж вы утомляете себя за этими таблицами... Вы бы поменьше их переписывали, Александр Иванович. А то недолго и заболеть!

– Вот вздор! Вовсе не утомляюсь... Напротив, теперь я чувствую себя куда здоровее, чем прежде! – храбрился «граф».

Май стоял замечательно теплый. В одно из воскресений, в конце месяца, граф и Антошка, оба одетые по-праздничному, в довольно приличных костюмах, после вкусного пирога шли в уют общества «Помогай ближнему!» навестить Анютку. В корзине, которую нес Антошка, были большой кусок пирога, полфунта колбасы и коробка леденцов.

Они поднялись в хорошо знакомую им небольшую приемную со скамьями около стен. Там уж сидели по кучкам посетители – преимущественно женщины плохо одетые – вместе с девочками, которых они навешали.

И от этой приемной, чистой, аккуратно выметенной, и от этой словно проглотившей аршин надзирательницы, и от этих уютских девочек, словно бы похожих одна на другую благодаря казенным темным платьицам и чепчикам на головах, веяло чем-то мертвящим... Все здесь напоминало не то казарму, не то хорошо устроенное тюремное заключение, а эти девочки – хорошо выдрессирован-

ных куколок с лицами, по большей части бледными, в выражении которых было что-то приниженно-лицемерное и в то же время несколько торжественно-праздничное. Не слышно было ни громкого разговора, ни веселого смеха, точно это сидели не дети, полные жизни, а какие-то крошки-монашки, приговоренные обществом «Помогай ближнему!» к неустанному покаянию, вероятно за то, что они имели счастье пользоваться милостями благотворительниц, во главе которых стояла непреклонная княгиня Мария Николаевна Моравская, обладавшая замечательными способностями накладывать печать казенщины и формализма на подведомственные ей благотворительные учреждения, которые она считала, конечно, образцовыми.

После добрых пяти минут ожидания к «графу» и Антошке подошла тихими, равномерными шажками маленькая девочка, чинная, тихая, с опущенными вниз глазами, совсем не похожая на ту востроглазую шуструю Анютку, которая прежде с особенной назойливостью приставала на улицах к «миленьким барынькам» и «добрым баринам», выпра-

шивая копеечку для «голодной маменьки», и строила недобрым прохожим, гонявшим ее прочь, самые оскорбительные гримасы, а подчас и запускала ругательные словечки, попрыгивая от холода на одной ножке.

Княгиня Моравская могла гордиться: разница между прежней Анюткой и этой степенной девочкой была такая же разительная, как между живым существом и мертвецом.

– Здравствуй, Анюта, – промолвил «граф».

– Здорово, Анютка! – приветствовал Антошка свою старую приятельницу, которой он всегда покровительствовал во время пребывания у «дяденьки».

– Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуй, Антоша! – отвечала Анютка, делая перед Опольевым книксен.

– Ишь как тебя выучили! – засмеялся Антошка.

– Нас всему учат! – степенно заметила Анютка.

– То-то и видно... Совсем ты вроде ученой обезьяны стала, Анютка! – сочувственно заметил Антошка.

– Такие слова нехорошо говорить, Антоша.

Это только мужики такие слова говорят! – нарочно громко проговорила девочка, оглядываясь на «аршин» в темном платье, сидевший неподалеку.

– Не приставай к ней, Антошка... У них тут этого нельзя! – вступился «граф». – Ну, садись около нас, Анюта... Рассказывай, как живешь... Хорошо тебе тут?.. Да вот возьми гостинца.

– Очень хорошо... Благодарю за гостинец, Александр Иванович.

– Ой, врешь, Анютка! – проговорил Антошка. – Ничего тут у вас нет хорошего...

– Зачем я буду лгать? Лгать грешно!.. – выговорила Анютка словно затверженный урок и снова посмотрела на надзирательницу.

– Да ты не бойся этой рыжемордой, Анютка... Чего ты все на нее смотришь?.. Она не услышит...

– Она все слышит, – почти шепотом произнесла девочка.

– И бьет? – так же тихо спрашивал Антошка.

– У нас не бьют! – с обиженным видом сказала Анютка.

– Не бьют? – удивился Антошка. – Значит, порют.

– И не порют.

– А как же у вас наказывают?

– Без обеда наказывают... Одну в комнате оставляют... Заставляют молитвы читать...

– И тебя так наказывали? – допрашивал Антошка.

– Нет... я хорошо себя веду; меня редко наказывают.

– А кормят хорошо? Сыта по крайней мере? – спросил «граф».

– Хорошо... Только в постные дни не очень... Только вы об этом никому не говорите, а то достанется! – опять шепотом проговорила Анютка.

– Кому ж я буду говорить, дурочка! – ласково шепнул «граф» и, поглядев с грустной улыбкой на Анютку, прибавил: – Ну и дрессирует же здесь вас, бедненьких, моя кузина...

– Какая кузина?

– Да княгиня Моравская.

Анютка широко раскрыла глаза и, видимо, не поверила, чтобы княгиня Моравская могла быть кузиной господину, который запанибратился

та с Антошкой.

Однако она промолчала.

– Она часто бывает у вас?

– Часто. В неделю два раза.

– И вы любите ее?

– Как же не любить? Она наша благодетельница. Мы за нее каждый день молимся.

– Гм... Похвально... Похвально! Кто же это заставляет вас за нее молиться? – спрашивал «граф».

– Начальница.

– Эх, кузина... кузина! – прошептал сквозь зубы «граф», и по его губам скользнула ироническая улыбка.

«А ведь тоже думает, что вырывает людей из когтей порока!» – пронеслось у него в голове.

Они поговорили еще с Анюткой с четверть часа, и говорить больше решительно было не о чем. И Анютка, видимо успевшая заслужить себе реноме благой девочки и боявшаяся надзирательницы, не особенно охотно отвечала на щекотливые вопросы, а больше бросала украдкой быстрые и жадные взгляды прежней Анютки на корзинку с гостинцами.

– Ну прощай, Анюта, – промолвил «граф», целуя девочку. – Бледненькая ты очень... Это нехорошо... Здорова?

– Я, слава богу, здорова...

– Даже и «слава богу»!.. – усмехнулся словно бы про себя «граф». – Да... скоро тут вас обрабатывают... Будь здорова, девочка.

Антошка потряс руку Анютки.

Они поднялись и хотели было уходить, как вдруг двери приемной стремительно распахнулись, в них показалась в форменном картузе голова испуганного швейцара, который громко крикнул: «Ее сиятельство!» – и в то же мгновение скрылся.

Сидевший неподвижно «аршин» в темном платье вскочил точно ужаленный и бросился через приемную к выходу, крикнув посетителям: «Встаньте!» Какая-то девочка убежала за начальницей.

В приемной воцарилась мертвая тишина. Все поднялись со своих мест.

Только один «граф» как-то особенно плотно уселся на скамейку и заложил ногу на ногу, расположившись в самой непринужденной позе. Однако он был, видимо, взволнован

предстоящей встречей с кузиной – она его встречала на улице года три тому назад и могла легко узнать – и нервно оправлял волосы и свою седую подстриженную бородку...

– Господин! Встаньте... Княгиня сейчас идет! – кинула ему на ходу пролетевшая начальница.

Но «граф» продолжал сидеть к ужасу Анютки и к удивлению всех присутствовавших.

Распахнулись двери, и в приемной появилась княгиня и тихо пошла, оглядывая вприсе-пез публику и ласково кивая в ответ на поклоны посетителей и низкие книксены девочек.

И начальница и «аршин», следовавшие за княгиней, давно делали знаки «графу», чтоб он встал, но он как будто не замечал их и взглядывал на княгиню.

«Однако сохранилась. До сих пор и свежа и хороша... Видно, режим помогает!» – подумал Александр Иванович.

– Садитесь, прошу вас, садитесь! – говорила между тем княгиня своим низковатым контральто, обращаясь к посетителям и останавливаясь около девочек, чтобы потрепать их

по щечкам, далеко не похожим на ее румяные пышные щеки. – А это к кому пришел этот господин? – обратилась княгиня к начальнице, заметив сидящего посетителя.

– К Анюте Бастрюковой...

– Я и не знала, что ее кто-нибудь навещает... Родной?

– Кажется, нет, княгиня... Этот господин приходит с мальчиком, знакомым Анюте...

Чуть-чуть шелестя платьем, княгиня направилась к Анютке.

Когда княгиня приблизилась, «граф» поднялся.

– Ну, как ты поживаешь, Анюта?.. Надеюсь, хорошо?.. И ведешь себя хорошо? – спрашивала княгиня, трепля своею белой пухлой рукой девочку.

– Анюта одна из лучших девочек... И учится прекрасно.

– Спасибо тебе, девочка... Радуеть ты меня...

Княгиня уже давно взглядывала на «графа» и не узнавала в этом представительном, прилично одетом господине с изысканными манерами того обтрепанного нищего в порывах

желой шляпе, которого несколько раз встречала на улице. В чертах этого господина, по-видимому бывавшего в обществе, она припоминала что-то хорошо и близко знакомое когда-то раньше и досадовала, что не могла припомнить.

Взгляд, нечаянно скользнувший по Антошке, которого княгиня сразу узнала, несмотря на его костюм, мгновенно напомнил ей и прежнего ее поклонника, красавца улана Шурку, и несчастного отверженца, писавшего ей письма с просьбами трех рублей. Оба эти лица почему-то слились в одном представлении.

Она еще раз взглянула на «графа», который не спускал с нее своих темных, чуть-чуть насмешливо улыбающихся глаз, и после нескольких секунд колебания, слегка смутившаяся, обратилась к Опольеву, и предусмотрительно на английском языке, уверенная, что этого языка никто не поймет:

– Я вас совсем не узнала. Очень рада встретиться с вами и видеть вас бодрым и здоровым... В последнее время я так много слышала о вас от Нины! – подчеркнула она и протя-

нула руку.

В голосе княгини звучала участливая нотка.

– Меня не мудрено не узнать... А вас я сейчас узнал... Вы так мало переменились с тех пор, как я имел честь встречаться с вами еще тогда... в обществе! – с рыцарской любезностью отвечал когда-то светский донжуан, почтительно пожимая руку княгине и склоняя свою седую кудрявую голову по всем правилам хорошо воспитанного светского человека прежних времен.

И по-английски он не разучился говорить.

– Ну и я постарела. Годы идут и не возвращаются! – промолвила княгиня, чуть-чуть краснея.

И словно бы боясь, чтоб разговор не продолжался на интимные темы, продолжала уже по-русски и несколько деловым тоном председательницы общества «Помогай ближнему!»:

– А вы с вашим питомцем навещаете мою девочку? Это очень мило с вашей стороны.

И «граф» тотчас же понял, чего хочет княгиня, и отвечал:

– Старая знакомая моего питомца, княгиня.

– Как же... Тогда ведь мы всех бедняжек освободили благодаря указаниям этого мальчика... А этот солдат куда-то исчез... Посмотрите, какая стала славная девочка эта Анюта и как она полюбила приют. Ты любишь приют, девочка? Говори правду... Не бойся...

– Очень люблю...

– Вот видите... А ваш мальчик так его боялся... И вы написали мне тогда такое письмо...

– Простите, княгиня, если оно было резко, – снова заговорил по-английски Александр Иванович, – но вы меня лишали дорогого существа и хотели отнять его чуть ли не силой...

– Но для его же пользы...

– Вы думаете, княгиня?..

– Уверена.

– А я так уверен, что в ваших приютах дрессируют будущих лицемеров... Взгляните, как все эти девочки забиты... Надеюсь, вы извините свободу чужого мнения? Не правда ли? А затем позвольте, княгиня, искренно поблагодарить вас за помощь, которую вы ока-

зывали лично мне, и пожелать вам всего лучшего... Имею честь кланяться, княгиня! – прибавил «граф» по-русски и почтительно склонил голову.

– Мы с вами разных взглядов... Дай бог и вам всего хорошего, а главное, мира душевного и здоровья!

Княгиня протянула руку «графу», ласково кивнула Антошке и пошла дальше.

Несколько времени «граф» и Антошка шли молча по улице.

Наконец Антошка спросил:

– По-каковски это вы говорили с этой княгиней, Александр Иванович?

– По-английски...

– Должно быть, отчекрыживали ее?

– Положим, не «отчекрыживал», как ты выражаешься, а кое-что ей сказал! – отвечал, улыбаясь, «граф».

– Насчет приюта?

– Именно. А почему ты догадался?

– Да как же... Совсем Анютка какая-то глупая стала в этом самом приюте... Прежде она не такая была. Уж на что у этого «дяденьки» били ее, а все там она когда и веселая быва-

ла... А здесь – порченная какая-то... Видно, что эти самые княгини да графини только людей портят...

– Ты, брат, прав... Портят... Но только думают, что спасают...

– Глупые они, что ли?

– Нет, Антошка... Они и не глупые иногда, и бывают добрые, но сами тоже порченные, как ты говоришь... Ну, куда же мы пойдем сегодня с тобой? – круто переменял «граф» разговор. – На набережную смотреть пароходы или отправимся на острова?.. День-то чудесный...

– На острова бы недурно... Только как бы вы не устали, Александр Иванович...

– Слава богу, немало хаживал... Идем на острова. А оттуда можно и на пароходе. На днях за статистику получу деньги! – не без гордости прибавил «граф».

Часа через полтора они уже сидели на скамейке на Елагином Острове и мирно беседовали, наслаждаясь чудным свежим воздухом. По временам проезжали экипажи, и оба они смотрели на разряженных в ярких летних платьях дам и на изящных кавалеров.

Антошка расспрашивал «графа», кто это такие: князья, или графы, или просто обыкновенные господа.

– А вон, смотрите, Александр Иванович... Один господин в большой коляске сидит... Должно, какой-нибудь богатый... Только лошади что-то не шибко бегут.

«Граф» взглянул на пожилого, видного брюнета в изящном темном пальто и в цилиндре на голове. И господин, в свою очередь, пристально и долго смотрел на «графа». Их глаза встретились, и оба они тотчас же ответили взгляды.

– Коляска проехала.

– Знаешь, кто это ехал в коляске?

– Кто?

– Братец мой... Константин Иванович Опольев! – проговорил «граф» с чувством озлобления.

– Ну? И он признал вас?

– Кажется...

– И небось не поклонился?

– Станет он кланяться!.. Поклонись даже я ему, так он отвернулся бы... Но только он этого никогда не дождетя...

«Граф» помолчал и после паузы прибавил:

– И у этого человека такая прелестная дочь!

– Красивый ваш брат, Александр Иванович! – заговорил Антошка.

– Да... сохранился.

– И важный?

– Важный.

– А богатый?

– Очень...

– Ишь ты! – воскликнул Антошка, словно бы выказал в этом отношении досаду, что такой нехороший человек и важный и богатый, тогда как Александр Иванович из-за этого самого человека терпел...

– И любит он Нину Константиновну? – снова спросил Антошка.

– Верно, любит...

– А как же она может любить такого отца... Или не знает, как он с вами поступил?..

– И дай бог, чтоб не знала... Ну, однако, поедем, Антошка, домой... Пожалуй, не к добру нам эта встреча с родственниками...

И действительно, встреча с братом оказалась не к добру.

Через неделю, первого июня, вместо обычного приезда Нины явилась горничная ее с деньгами и объявила, что Нина Константиновна «очень расстроены... имели крупный разговор с папенькой».

– Из-за чего? – испуганно спросил «граф».

– Известно, из-за вас, Александр Иванович! – с сердцем проговорила горничная и торопливо ушла.

XXXII

Его превосходительство был крайне изумлен встречей на островах.

Его изумила не самая встреча, а главным образом то, что он увидал своего «братца», как презрительно называл и он, в свою очередь, «графа», не в обычном его виде нищего пропойцы, с порыжевшим цилиндром на голове и в невозможных сапогах, – каким, случалось, он встречал его на улице и каждый раз отворачивался, испытывая чувство омерзения, – а прилично одетого, в свежем белье, в незаношенных перчатках и совершенно трезвого, в образе почтенного и солидного человека, наслаждавшегося погожим майским

днем, да еще в обществе какого-то чистенько одетого мальчика.

Даже что-то идиллическое было в этой паре, как показалось петербургскому чиновнику, попавшему на острова днем по делам службы – вызванному по какому-то делу к министру, перебравшемуся уже на дачу.

Подобная метаморфоза заставила Опольева удивленно приподнять складки на лбу и задуматься на несколько минут, чтобы приискать логическое объяснение такому странному явлению, которое, казалось, совершенно противоречило его непогрешимому мнению о брате.

Сам Константин Иванович Опольев, всегда рассудительный, не знавший ошибок молодости и корректный, по крайней мере с точки зрения ходячей морали, считавший себя вполне порядочным человеком и не дюжинным государственным деятелем, которому не дают только случая показать себя, считал своего брата неисправимым мерзавцем, не заслуживающим никакого снисхождения.

Это мнение, вполне обоснованное, не оставляющее никаких сомнений, было давно

составлено, занумеровано и сдано в архив, и в душе непреклонного чиновника ни разу не шевельнулось чувства сожаления к брату, основательно им позабытому.

Какое в самом деле могло быть сожаление к человеку, который совершил подлог, опозорил честь мундира, почти разорил отца, лишив таким образом и брата значительного состояния, и затем опустился до последней степени, потеряв всякое чувство человеческого достоинства: обивал пороги, просил милостыню на улицах и пьянствовал.

Все доводы ума, весь душевный и умственный склад Опольева решительно протестовали против всякого снисхождения – не даром же Опольев в свое время был беспощадным прокурором, любившим «закатывать» подсудимых по букве закона, – и логика, казалось, говорила, что такому пропащему человеку, как его брат, никогда не подняться и что ему предстоит умереть от пьянства где-нибудь в больнице или на улице, и чем скорее он это сделает, тем будет лучше.

И вдруг вместо того – прилично одетый господин, правда, сильно помятый жизнью,

но все-таки сохранивший вид джентльмена и даже какую-то дерзкую самоуверенность... И этот иронический взгляд черных, глубоко сидевших глаз... И эта улыбка, словно бы издевающаяся над кем-то, искривившая его губы в тот момент, когда их взгляды встретились.

Его превосходительство в качестве чиновника, любящего порядок, привык сортировать и людей и явления так же, как сортировал бумаги, давая им ту или другую оценку краткими и решительными определениями. Неясностей и неопределенности он не любил, как настоящий человек практики. И, раз сделав определение, он успокаивался.

Вот почему его превосходительство после встречи с братом испытывал некоторую досаду. Еще бы! Факт, который был перед глазами – прежний нищий, совершенно преображенный, – как будто не поддавался никакому логическому объяснению и опровергал все данные о человеческом падении.

Наконец он решил, что, вероятно, какой-нибудь дурак, не знавший, каков гусь его братец, одел его и дал денег, и он празднует сегодня день своего обновления и, конечно, в

скором времени пропьет платье и будет шататься по улицам в прежнем своем виде.

Это решение как будто успокоило его превосходительство, и на лице его скользнуло довольное выражение человека, уяснившего себе непонятное явление.

Однако эта идиллическая прогулка в уединении островов, вместо того чтобы быть в каком-нибудь грязном трактире, это лицо, бледное и истомленное, но не похожее на прежнее лицо пьяницы, и, наконец, эта компания с мальчиком как будто не вязались с таким заключением. В минуту этого сомнения Опольев вдруг вспомнил про письмо, в котором брат в первый раз после долгих лет молчания просил о помощи для какого-то мальчика, которого призрел. Он припомнил, как не поверил ни слову этого письма, считал этого «мальчика» уловкой, чтоб выманить денег на пьянство, и смутно почувствовал неудовлетворительность своего объяснения.

Но ему было некогда теперь думать об этом. Мысли его приняли совсем другое на-

правление, тем более, что дача министра была недалеко.

Вернулся домой Опольев в отличном расположении духа – министр был очень милостив и приветлив – и, сообщив об этом жене, проговорил:

– А знаешь, Anette, кого я сегодня встретил на островах и кто меня очень удивил?

– Кто, мой друг?

– Ты ни за что не догадаешься! Я встретил своего братца и – вообрази себе! – в приличном костюме, в приличном виде и с каким-то мальчиком...

Госпожа Опольева давно уже собиралась сказать мужу о перемене, которая произошла с его несчастным братом, давно хотела объяснить, что он далеко не такой негодяй, каким считает его муж, и сообщить, что Нина помогает дяде из своих карманных денег, но все не решалась, боясь рассердить своего Константина Ивановича, которого боготворила и в то же время побаивалась. Но теперь, видя хорошее его настроение, она решилась, наконец, открыть скрываемую тайну, которая ее тяготила.

И она ответила:

– Твой брат, право, заслуживает лучшей участи, Константин Иванович. Каково бы ни было его прошлое, но ты сам убедился, что теперь...

– Ни в чем я не убедился и теперь... Реабилитации таких людей я не верю!.. – перебил Опольев жену.

– Однако... ты сам же говоришь, что удивлен был, встретив его совсем непохожим на прежнего нищего.

– Ну и что ж? Кого-нибудь разжалобил, и он походит несколько дней в приличном костюме, а затем пропьет его.

– Он этого не сделает! – значительно проговорила Опольева.

– Почему ты это утверждаешь? Тебе так кажется?.. – насмешливо отчеканил Опольев.

– Нет, я кое-что знаю о бедном твоём брате и давно хотела поговорить о нём с тобой... Он совсем не негодяй, как ты думаешь, мой друг... Ты сам в этом убедишься, когда выслушаешь, что я тебе скажу...

– Я слушаю, Anette... Переходи к делу...

– Тогда это письмо, которое ты мне пока-

зывал... Помнишь?

– Ну, помню...

– Ведь он действительно просил для того, чтобы одеть мальчика, которого спас от какого-то изверга солдата и приютил у себя... Этого мальчика ты и встретил... Он и теперь живет у твоего брата, который очень привязан к своему приемышу... О, если б ты знал, какая это трогательная привязанность двух несчастных!

И госпожа Опольева рассказала мужу и о том, как княгиня Marie хотела поместить Антошку в приют, и как Александр Иванович не согласился, как он был болен, как совсем изменил жизнь, перестал пить и стал другим человеком.

Опольев внимательно слушал жену. Ироническая улыбка скользила по его губам, когда он спросил:

– Откуда ты слышала все эти чувствительные истории об его чудесном превращении? Тебе он их описывал что ли?.. И, наконец, на что же он живет, если не собирает по улицам... Кто ему помогает?..

– Нина.

Всегда ровный и сдержанный, почти никогда не возвышавший голоса, его превосходительство на этот раз не выдержал – до того сообщение жены было неожиданно – и воскликнул:

– Нина!? Это что еще за сюрприз?

Глаза его сделались неподвижными; губы сжались и скулы задвигались.

– Ты не сердись, Константин Иванович, – осторожно и робко вымолвила жена, – что мы тебе раньше этого не сказали... Ты так был предубежден против брата... Но теперь, когда нет сомнения в его исправлении... ты, конечно, простишь нам эту маленькую тайну... Нашу Нину тогда поразило то письмо... ей непременно хотелось помочь, и она послала небольшую сумму из своих карманных денег... А потом стала давать каждый месяц... И если б ты знал, как твой брат благодарен! Если б ты знал, как Нина рада, что помогла брату своего отца бросить прежнюю нищенскую жизнь... И в каком она восторге от Александра Ивановича... Как он мил и деликатен...

– Мил и деликатен, – повторял Опольев. –

Отец считает его негодяем, а вы в восторге...
Весьма назидательно... Отлично... Нина – глупая еще девочка, но ты, Anette, как это допустила?..

– Но, мой друг... Нина так настаивала... И разве не вправе она распорядиться своими карманными деньгами?

– Но откуда же она знает о добродетелях моего братца? В переписке с ним состоит, что ли?..

– Она раз в месяц навещала его!

– Что? – воскликнул Опольев.

Жена повторила.

– Бывает у этого негодяя, которого я не велел пускать к подъезду? И ты ей позволила... Ты позволила ей?.. Да ты подумала ли, что делаешь? – прибавил Опольев, уставив на жену злые глаза.

Этот оскорбительный тон, этот презрительный взгляд задели за живое госпожу Опольеву, и она возразила с обиженным видом:

– Я не вижу ничего ужасного в том, что Нина навещала несчастного дядю... Я подумала, прежде чем позволила дочери поехать... Наконец, как же ей запретить? Ведь она не ма-

ленькая... Разве лучше, если она без позволения отправится?.. Да ты и сам разрешил Нине быть членом благотворительного общества, в котором председательницей княгиня Marie... Нина с Marie посещают же бедных... Так чем же хуже посетить твоего брата?..

Его превосходительство должен был употребить некоторое усилие, чтоб не назвать свою супругу дурой. Он, впрочем, сделал это мысленно и вслух резко прибавил:

– Ты не находишь ничего ужасного в этих посещениях, а я нахожу их неприличными для моей дочери... Я уже не говорю, как я неприятно изумлен, что все эти глупости держались от меня в секрете...

– Но, милый друг... Прости... Я не ожидала, что ты примешь это так серьезно! – промолвила уже виноватым тоном жена.

Этот виноватый тон несколько смягчил его превосходительство, и он произнес:

– Что сделано, то сделано. Надо, чтоб впредь этого не повторялось, чтобы Нина перестала навещать этого человека. Попроси ко мне Нину. Я с ней переговорю...

– Но только ты не сердись на нее, Констан-

тин Иванович... Ведь она все это сделала из добрых побуждений.

– Знаю. Не беспокойся.

– Она какая-то нервная стала в последнее время, наша Нина, и совсем не та, что была прежде...

– А что?

– Избегает выездов...

– Ну, это еще не беда.

– Все больше за книгами... Увлекается Толстым...

Его превосходительство поморщился, точно от зубной боли.

– Разъезжает с Мари по бедным... это ей нравится, хоть она и возвращается всегда расстроенная...

– Княгиня сбивает ее с толку. Отчего не заняться благотворительностью, но надо все делать в меру, в меру! – повторил Опольев своим авторитетным тоном. – Положим, твоя кухня создала себе положение из филантропии и никогда не сидит дома... Ну, этот филантропический зуд у нее еще понятен при таком расслабленном идиоте, как этот князь... Но Нина слишком молода еще для

этих благотворительных увлечений... И знаешь ли что? Пора бы Нине замуж! – неожиданно прибавил Опольев.

– И я так думаю... Я говорила с ней об этом.

– Что ж она?

– Не хочет.

– Никто ей не нравится?

– Кажется, никто...

– А Сиверский? Кажется, он не прочь сделать предложение... Он порядочный молодой человек и был бы отличной партией... Что Нина о нем думает? Нравится он ей?

– Нисколько.

– Отчего?..

– Говорит: совсем неинтересен...

– Гмм... Странно, почему не нравится. Он вполне порядочный человек... Ну и с состоянием... связи... и положение... Он может далеко пойти... Так ты пришли ко мне Нину... Мы с ней побеседуем.

Опольева, сама же разболтавшая все мужу, вышла из кабинета несколько встревоженная, досадуя на себя, что открыла тайну, о которой лучше было бы молчать. Теперь того и гляди выйдет «история» – а всяких «историй»

Опольева боялась больше всего на свете, – если Нина не убедится доводами отца и, восторженно расхваливая нищего дядю, выскажет отцу одно из тех своих крайних мнений о свете и богатстве, какие иногда высказывала матери.

Как обыкновенно бывает с слабыми, бесхарактерными людьми, она хотела, чтобы все как-нибудь обошлось без неприятностей, и беспокоилась и за мужа и за дочь, не зная и не решаясь, чью принять сторону. Когда она слушала мужа, ей казалось, что он прав и что Нине в самом деле неприлично ездить к дяде, хотя бы он и исправился, забывая, что еще недавно, слушая рассказ Нины о посещении дяди, она проливала слезы от умиления и сама хотела навестить этого «несчастливого старика, обиженного людьми».

– Ниночка! Папа тебя зовет... Он хочет с тобой говорить о твоих посещениях дяди... Он очень этим недоволен! – говорила Опольева, войдя в комнату Нины.

Нина слегка побледнела. Она понимала, что предстоит тяжелый разговор. Но она быстро поднялась с места и решительно на-

правилась к дверям.

– Ниночка... ты, родная, не противоречь отцу, не раздражай его... И исполни его желание: не езди к дяде. И не сердись на меня... Это я все ему рассказала... Я думала, он отнесется к моему признанию иначе, тем более что сегодня он встретил на улице дядю и был очень изумлен...

– Изумлен? Чем, мама?

– Его приличным видом, его костюмом... одним словом, тем, что он не попрошайка, каким был...

– Благодаря тому, что все от него отвернулись! – горячо вставила молодая девушка.

– Но папа не верит...

– Чему не верит?

– Что дядя мог так измениться после всего того, что было...

– Не верит... Но ведь это правда! – воскликнула Нина.

– И я пробовала говорить... Я рассказывала об этом мальчике...

– И папа все-таки не верит? – грустно повторила Нина.

– Не верит.

– Так я постараюсь убедить папу! – промолвила Нина.

– Нет, Нина, нет, не делай этого... Это бесполезно... И вообще... вообще, лучше не противоречь ему. К чему? Отца ты не переубедишь и только огорчишь его. А он тебя так любит...

– Но, мама... Что ты говоришь? Неужели я должна согласиться с папой, что дядя гадкий человек и что он не заслуживает никакого участия, когда я убеждена в противном... И неужели папа может сердиться на это...

Опольева не знала, что отвечать, и снова повторила:

– Во всяком случае, Нина... помни, что не следует огорчать отца... Ну, иди, иди... Он тебя ждет...

Молодая девушка пошла в кабинет.

XXXIII

Опольев так же мало знал свою дочь, как и дочь – отца.

Он ее очень любил тою эгоистическою любовью, которою любят родители своих детей, любя в них самих себя. Он был всегда с ней ласков и нежен, заботился об ее удовольствиях, нарядах, перекидывался с ней словами, полными ласки, в те редкие минуты, когда видел ее в свободное от службы время, но никогда с ней серьезно ни о чем не говорил, привыкши считать ее девочкой даже и тогда, когда она вышла из института.

Как и большинство отцов, он никогда не старался заглянуть в ее душевный мир, не пытался узнать, какие мысли, какие мечты занимают ее головку, и со свойственною мужчинам самоуверенностью в безошибочном понимании людей, тем более дочери, которая всегда была под глазами, воображал, что отлично знает свою дочь и что делает для нее все, что только может доставить людям счастье. У нее будет хорошее приданое. Она выйдет замуж за порядочного человека и будет

порядочною женщиной в том смысле, в каком понимал Опольев. А пока она живет, окруженная любовью отца и матери, в полном счастье и довольстве.

Разговор, только что бывший с женой, несколько смутил его превосходительство теми неожиданными новостями, которые он узнал. Ему очень не понравились и посещения «негодяя братца», и филантропические подвиги дочери, и увлечение Толстым, и он считал виноватою свою жену, которая раньше не сообщила обо всем этом ему. Достаточно было бы ему поговорить с дочерью с четверть часа, и она поняла бы сама, как неприлично посещать «пьяниц родственников», как смешно усердствовать в филантропии и как нелепо восхищаться проповедями Толстого.

Эту легкость вразумления дочери Опольев основывал главным образом на уверенности в том, что он отлично знает свою девочку. Кроме того, он рассчитывал и на свой нравственный авторитет, и на свое умение убеждать людей, — недаром же он считал себя необыкновенно умным человеком.

И в нем не было ни малейшего сомнения в том, что Нина – эта милая, кроткая Ниночка – вполне проникнется его доводами и сознает ошибочность своего поведения. Она настолько умна, хорошо воспитана и настолько любит отца, чтоб поверить ему, что хорошо, что дурно.

Разумеется, все эти увлечения ее филантропией и Толстым немедленно пройдут.

А главное – ей надо выходить замуж!

Так думал Опольев в ожидании дочери и, несмотря на уверенность в легкости ее обращения на путь истины, все-таки испытывал не то что смущение, а какую-то неловкость при мысли, что ему придется запретить ей посещать брата, особенно если он и в самом деле переменился, как ни трудно этому поверить.

И его превосходительство снова мысленно назвал не совсем лестным эпитетом свою жену за то, что она допустила это невозможное знакомство Нины с «братцем».

«Воображаю, чего только не наговорил ей, кого только не обвинял этот человек, чтобы только разжалобить добрую девочку!» – ду-

XXXIV

Тихий стук раздался в двери кабинета.

– Это ты, Ниночка?

– Я, папа.

– Входи, входи... я жду тебя. Садись вот тут, поближе... Поговорим, моя девочка! – мягко и ласково заговорил Опольев, когда его любимая Нина, серьезная, побледневшая и несколько взволнованная, вошла в этот большой, внушительный, всегда пугавший ее кабинет, где за письменным столом сидел отец.

Она опустилась и почти потонула в большом мягком кресле, стоявшем у стола, и, взглянув на отца и встретив его нежный, любовный взгляд, казалось, смутилась еще более.

Она любила отца, но всегда испытывала какое-то стеснение перед ним и в присутствии его никогда и не высказывалась, точно чувствуя, что он отнесется или насмешливо, или не обратит на ее слова никакого внимания.

– Ты сердишься на меня, папа? – спросила

она.

– Нет, Нина, я не сержусь, но мне очень неприятно, что ты вздумала ездить к моему брату...

– Я виновата, папа, что не сказала тебе об этом раньше...

– Да, это было бы гораздо лучше, мой друг, чем держать в секрете от отца эти визиты... По крайней мере ты не сделала бы ложного шага...

Опольев пустил дымком душистой сигары и продолжал:

– Видишь ли, Нина, в чем дело. Ты еще слишком молода, чтобы знать и понимать людей, и потому тебя легко мог ввести в заблуждение и заставить пожалеть себя этот пьяница и нищий, который, к несчастью, мой брат... Эта чувствительная история о каком-то мальчике, эти жалобы, которые он, вероятно, расточал на других людей за свое же беспутство, могли, конечно, тронуть твое доброе сердце... Все это понятно... Но если б ты спросила у меня совета, я сказал бы тебе, что такие люди, как мой брат, промотавший состояние, сделавший подлог и павший до того, что

собирал на улицах милостыню, такие люди не заслуживают сожаления, и посещать таких пьяниц порядочной девушке совсем неприлично. Воображаю, что ты могла там видеть и с кем могла встречаться! – брезгливо прибавил Опольев.

– Но, папа, поверь...

– Позволь мне докончить, Нина! – остановил Опольев дочь.

Нина тоскливо прижалась к креслу, и Опольев продолжал, отчеканивая слова, тем уверенным, слегка докторальным тоном, каким он любил говорить, не сомневаясь в надлежащем эффекте своих речей и слушая в то же время самого себя:

– Я очень рад, Нина, что об этом узнал. Не сомневаюсь, что ты и не подумаешь больше навещать человека, которого твой отец имеет основание не признавать братом. Я не запрещаю тебе помогать ему, если тебе так хочется, и бросать деньги на пьянство, но бывать у негодая, который потерял все человеческое, посещать пьяницу, который, быть может, не прочь украсть чужую ложку...

Но тут возмущенная молодая душа не вы-

держала и помешала оратору закруглить период.

Бледная, с блестевшими от слез глазами, Нина вскочила с места и почти что крикнула:

– Папа! Что ты говоришь? Ты заблуждаешься!

Опольев был изумлен, и настолько изумлен, что в первое мгновение не находил слов и только в недоумении пожал плечами.

В самом деле, ему говорят, что он заблуждается, и кто это говорит? Его дочь!

А Нина, вся охваченная желанием открыть отцу глаза и восстановить бессовестно поруганную правду, между тем продолжала:

– Дядя совсем не такой, каким ты его представляешь... О, если б ты увидел его, папа... узнал его... Ты убедился бы, какой он хороший... сколько в нем доброты... сколько ума... Он только несчастный оттого, что брошен всеми... А он, может быть, лучше многих, которых все уважают... Да, лучше, несмотря на то, что он нищий, а те богаты и занимают высокое положение... Ты только выслушай, папа, прошу тебя... тогда ты увидишь, как ты ошибаешься насчет бедного, милого дяди.

И, волнуясь и спеша, словно боясь, что ей не дадут сказать всего, что нужно, девушка с восторженною горячностью своего доброго сердца говорила, не думая ни о закругленности периодов, ни о красоте речи, о доброте и деликатности дяди, рассказала в подробности историю с Антошкой, о том, как дядя совсем переменил жизнь, как только явилась к нему возможность, как он страдал прежде и как доволен и счастлив теперь, имея хоть угол под конец своей жизни...

– И он никогда никого не бранил, никого не обвинял за то, что его все бросили после того, как он был исключен из полка... Он одного себя считает виновным за все несчастья, которые испытал! – прибавила в заключение Нина.

И, точно сама испугавшись той храбрости, с какою решилась говорить с отцом, она вдруг притихла и, опустившись в кресло, робко взглядывала на отца.

И страстный вызывающий тон, и горячая защита пьяницы нищего – защита, точно похожая на обвинение отца, и вырвавшаяся фраза о том, что «дядя лучше многих, которых

все уважают», – все это как громом поразило Опольева. В речах дочери его ухо уловило что-то такое, для него неприязненное, ужасное и нелепое, чего он никогда не ожидал. Какая-нибудь курсистка еще могла бы высказывать такие взгляды, начитавшись нелепых книжек или наслушавшись разных бредней, а то его дочь, дочь видного общественного деятеля, известного своими ультраконсервативными тенденциями!..

Но еще неожиданнее было то, что он, этот всеми признаваемый умный человек, считавший себя необыкновенно проницательным и тонким знатоком людей, казалось, только сейчас, сию минуту, несколько узнал душевный мир своей дочери, понял, что и у нее есть свои взгляды и мысли, совсем непохожие на его, и – главное – что в этом маленьком, кротком и скромном на вид существе с большими вдумчивыми глазами чувствуется что-то свое, что-то упорное и что убедить ее в четверть часа, как он думал, едва ли возможно.

«Откуда все это?»

И в эту минуту он понял, что дочь далеко не смотрит на отца с тем благоговейным вос-

торгом, на который он рассчитывал, и весьма вероятно, даже наверное, судя по ее словам, относится к нему критически и, пожалуй, даже считает его далеким от того идеала, который рисуется в ее голове. Недаром же она так распинается за этого «негодяя»...

И этот «негодяй» возбуждает еще большую ненависть в его превосходительстве.

И взгляд его красивых черных глаз теряет прежнюю мягкость и нежность любящего отца и блещет резким и холодным, насмешливо-презрительным выражением. Тонкие губы его слегка подергиваются. Он смотрит на свою девочку и чувствует к ней в эту минуту что-то неприязненное, точно перед ним не горячо любимое создание, а враг, дерзко осмелившийся покачнуть пьедестал его непогрешимости и великолепия.

Нина поняла этот резкий холодный взгляд, и тоска наполнила ее сердце, та тоска, которая является у любящих детей, чувствующих разочарование в своих родителях...

«Он, значит, не выносит правды!» – подумала она и вся съежилась, точно ей сделалось холодно, в кресле и трепетно ждала, что ска-

жет отец, предчувствуя в то же время, что то, что он скажет, будет совсем не то, чего она ждала, когда шла в кабинет, рассчитывая своей защитой вызвать отца на примирение с несчастным дядей.

И он проговорил резким, не допускающим возражения тоном, слегка прищуривая глаза:

– Я терпеливо выслушал все то, что ты изволила мне высказать, и, разумеется, несколько не убежден... Меня только удивил тот вздор, который, к сожалению, оказался в твоей голове... Я предполагал в тебе более здравого смысла и думал, что ты не позволишь себе сравнивать пропойцу и нищего с порядочными людьми... Откуда у тебя такие идеи?.. От этого добродетельного дяди?.. Или начиталась Толстого? – насмешливо спросил он.

– Я, папа, сама об этом думала...

– Сама? Поздравляю. На каком же основании ты делаешь подобные сравнения?

– На основании того, что вижу, что слышу...

– И доверяешь своим наблюдениям больше, чем мнениям своего отца?

Что могла ответить на это Нина?

– Слишком рискованно, моя милая, в твои года полагаться на свои наблюдения... Надо прислушиваться к тому, что говорят люди, более тебя знающие жизнь, и не отваживаться говорить такие вещи наобум... И где это ты видела людей из нашего общества, которые, по твоему мнению, хуже моего братца?

– А князь Чекалинский, папа? Разве он не проиграл огромного состояния и разве не выдал подложного векселя? А между тем его везде принимают! А этот Кривощек... Занимал такое место – и оказался взяточником! А Рущуков?.. Господи! Да сколько таких, точно ты сам их не знаешь? И их везде принимают, им все прощают, а несчастного дядю за меньшую вину изгнали из общества и сделали нищим. Где же тут справедливость?

На этот раз и его превосходительство находился в некотором затруднении и не знал, что ответить дочери. Действительно, названные ею господа имели за собою большие грехи и тем не менее бывали у Опольева в доме.

И чем более затруднялся Опольев ответом, тем более раздражался на дочь и, наконец,

сказал:

– Все это, может быть, до некоторой степени и верно... все эти люди, о которых ты говоришь, и поступали не совсем корректно, но все-таки они никогда не пали бы так низко, как тот человек...

– Да, потому что одних вовремя поддерживали, а гадости других замяли...

– Ты глупости говоришь! – резко остановил Опольев. – Довольно их... Я позвал тебя сюда не для полемики, а для того, чтобы сказать тебе, что я недоволен твоими посещениями дяди... Да, очень недоволен, – строго прибавил он.

Нина молчала.

– Допустим даже, что он и переменял жизнь благодаря твоим благодеяниям и больше не нищенствует и не пьянствует, а ведет добродетельную жизнь вместе со своим питомцем... допустим и это, как ни трудно допустить такую реабилитацию, возможную лишь в плохих романах, но все-таки прежняя жизнь оставила на нем свою грязь, и сколько-нибудь порядочной девушке предосудительно вести с таким человеком знакомство...

Так я смотрю и прошу тебя никогда больше не бывать у него... Слышишь?

– Слышу, папа! – проронила молодая девушка.

– Дай мне слово!

– Пока я у вас – даю!

Этот ответ взорвал обыкновенно сдержанного Опольева, и он гневно проговорил:

– Можешь идти, дерзкая девчонка!

XXXV

Это объяснение с дочерью взволновало Опольева.

Он долго не мог успокоиться и быстро и нервно ходил по кабинету, возбужденный, поводя скулами и хрустя по временам белыми, крупными пальцами заложенных за спину рук. Только что сделанное открытие – именно открытие, – что, по всем вероятностям, дочь его заражена теми самыми мнениями, против которых он боролся в качестве официального лица и которые считал вредными, и изумляло, и раздражало, и огорчало его превосходительство...

И как он ничего этого не замечал, как он

вовремя не остановил этого недуга, готового охватить и погубить молодой организм? То-то, припоминал он слова жены, она избегает выездов, не любит общества, читает книжки и ей никто не нравится из тех молодых людей, которые у них бывают...

Усталый от ходьбы, он снова присел к столу и долго-долго сидел в кресле в глубокой задумчивости, словно человек, внезапно застигнутый каким-то неразрешимым вопросом.

Наконец, он подавил пуговку звонка и, когда явился лакей, приказал попросить к себе барыню, если у нее никого нет.

И, когда в кабинет пришла Опольева, несколько встревоженная, с красными от слез глазами, муж с какою-то злостью взглянул в это еще красивое, добродушное, полное лицо, точно считая жену виноватой за то, что дочь совсем не та, какою он ее считал, и проговорил:

– Знаешь ли ты, какая у нас Нина?..

– Какая? Она славная, прелестная! – поспешила заступиться мать.

– Славная... прелестная! – передразнил Опольев. – Ты ничего не видишь!.. Она ниги-

листка...

– Бог с тобой... Что ты говоришь? – испуганно промолвила мать.

– Я говорю то, что есть в действительности... У нее очень опасные мнения... Что ты удивляешься? Ты и не догадывалась? Ты позволяла ей посещать этого пьяницу? Ты отпускаешь ее ради дурацкой филантропии по всяким трущобам... Ты позволяешь ей читать все, что ей вздумается...

– Но, Константин Иванович, она не маленькая...

– Не маленькая, но ты могла бы иметь на нее влияние... А теперь полюбуйся, что вышло? Как она говорила с отцом? Как защищала этого мерзавца, которого я не велел пускать в дом... И как дала слово не ходить к нему... Видно, что против желания.

– И ты, верно, сурово обошелся с ней? Константин Иванович! Не забудь, что Нина у нас одна... Она натура чуткая... Пусть даже и увлекается книгами, пусть даже у нее и крайние мнения, но не озлобляй ее... Не заставь бедную девочку возненавидеть родительский дом! – взволнованно и решительно говорила

теперь эта слабая, нерешительная женщина, в которой заговорила мать, отстаивающая свое любимое детище.

Его превосходительство вдруг струсил.

— Но я и не думал сурово обходиться с ней, — промолвил он.

Но Опольева не слушала и продолжала:

— Ты упрям, но и она упряма... Мало ли что может прийти ей в голову?.. Ей может показаться, что ты ее не любишь, и она уйдет от нас... Примеры такие бывали... Вспомни историю у Вяземцевых?.. Дочь их ушла... И, наконец, неужели уж такое преступление бывать у твоего брата, которого ты не можешь простить, а твоя дочь полюбила?..

Но тут уж его превосходительство не выдержал. Едва сдерживая бешенство, он распахнул двери кабинета, и госпожа Опольева тотчас же смолкла и догадалась уйти.

С тяжелыми думами сидела и Нина в своей комнате. Отец представлялся теперь в ее глазах совсем другим человеком. Тяжелые обвинения в несправедливости, в жестокости, в нетерпимости к чужим мнениям невольно роились в ее голове, смущая в то же время

девушку, и напрасно она старалась найти оправдание для отца. Что-то непонятно жестокое и злопамятное чувствовалось в этих нападках на брата... А это издевательство над ее словами, полное насмешливой злости?

Нина сидела грустная, и вся ее жизнь, которую вела она, казалась ей какою-то пустою, бесцельною, ни для кого не нужною. К чему и зачем вся эта роскошь, которою она окружена и которая ее нисколько не делает счастливою?

И она завидовала в эти минуты тем трудящимся интеллигентным девушкам, у которых есть цель в жизни, которые работают и ни от кого не зависят. Как бы она была счастлива, если б и она могла так жить!

А теперь? Какая это жизнь?

Она может ездить на балы, в театры, тратить безумные деньги на наряды и в то же время не смеет навестить этого несчастного старика дядю, только потому, что он в глазах отца и общества отверженец.

«Нет, так жить нельзя!» – думала молодая девушка.

Прошло три года с небольшим.

За это время Антошка блистательно окончил курс технической школы при одном большом заводе на Васильевском Острове и поступил учеником на тот же завод в механическую мастерскую.

Талантливость и способности Антошки, его необыкновенная сметливость и какая-то лихорадочная жадность к занятиям обратили на себя внимание заведующего школой, старого идеалиста шестидесятых годов, преданного своей школе, которой он заведовал пятнадцать лет и которую поставил на надлежащую высоту, умея внушить к себе любовь и уважение учеников, по большей части детей заводских рабочих.

Антошка сделался его любимцем, и учитель предложил своему способному ученику приходить к нему по вечерам, после окончания работ на заводе, для специальных занятий по механике, к которой Антошка обнаруживал особенную склонность. Еще бывши в школе, он интересовался чертежами машин,

часто бегал после занятий в механическую мастерскую, где отделялись части громадных механизмов для кораблей, и там жадно смотрел на эти цилиндры, золотники и холодильники, старался проникнуть в тайны их устройства. Уж он смастерил для «графа» особенный замок и палку с выскакивающим из нее прибором для рыбной ловли, а для Нины – стальной бювар с ее монограммой, с календарем и застешками замысловатого, им придуманного устройства и выказал в этих работах много вкуса и механического остроумия.

«Граф», гордившийся успехами Антошки гораздо более, чем сам юный изобретатель, был в восторге от его подарков, находил, что лучше таких вещей он не видал на своем веку, и не без торжественности объявил, что Антошка впоследствии будет знаменитым механиком...

– Того и гляди когда-нибудь и портрет твой, Антоша, в иллюстрациях появится... Выдумаешь какую-нибудь новую машину... и станешь известным.

Антошка, однако, довольно скептически

относился к похвалам «графа», зная, что он, несмотря на свой ум и обширные познания в других областях, решительно ничего не смыслил в механическом деле.

Нечего и говорить, что он с благодарностью принял предложение заведующего школой и ходил к нему на квартиру при заводе каждый вечер, с жадностью слушая его лекции. В год он прошел таким образом краткий курс механики, познакомившись с ее принципами, насколько это было возможно без знания высшей математики.

И заведующий школой, маленький, круглый, толстенный человечек с добрыми глазами и длинными седоватыми волосами, придававшими ему литературный вид, однажды с особенною горячностью просил директора завода обратить на Антона Щигрова особое внимание.

Он рассказал его историю, рассказал, как прекрасно занимался он у него, и расхваливал его талантливость.

— Из этого юноши вышел бы выдающийся математик и механик, если бы только он имел возможность получить высшее образо-

вание... Но куда ему об этом и думать, бедняге? Во всяком случае, благодаря его замечательным способностям завод будет иметь в нем недюжинного мастера...

Директор завода, образованный и сам очень талантливый человек, особенно заботившийся, чтобы у него на заводе были хорошие русские мастера, заинтересовался Щигровым, которого помнил по бойким ответам на экзамене, и обещал не забыть его.

– Только не увлекаетесь ли вы, Петр Федорович? – улыбнулся директор, обращаясь к учителю.

– А вы потрудитесь спросить о Щигрове начальника мастерской... Да вот и Арнольд Оскарыч сам... Легок на помине.

На внезапный вопрос об Антоне Щигрове начальник мастерской Арнольд Оскарович Вундстрем, аккуратный, требовательный, справедливый и несколько ограниченный финляндец пожилых лет в форме инженер-механика, небольшого роста блондин с серьезным лицом, в выражении которого было что-то честное, правдивое и в то же время жестковатое, первым делом несколько оша-

лел от этого вопроса, так как он к нему не был подготовлен и пришел в этот кабинет, занятый другими делами, требующими разрешения директора.

И потому он не сразу ответил и несколько мгновений соображал о том, как ему следует ответить со всей его педантической добросовестностью.

Отзывы честного финляндца были самые лучшие. Хотя Щигров всего год как служит на заводе, но исполняет ответственные работы. Руки у этого Щигрова золотые и сообразительность замечательная. Кроме того, он и чертит отлично. Если б не заводские правила, то он с удовольствием представил бы его в помощники мастера и назначил бы ему на первое время пятьдесят рублей жалованья в месяц... Ему можно поручить работу, требующую тонкой отделки и особенного внимания...

По счастью, директор не был рутинером и охотно выдвигал способных рабочих, не стесняясь ни правилами, ни годами службы, ни молодостью.

— Что ж, сделайте Щигрова помощником

мастера и дайте пятьдесят рублей жалованья с будущего месяца! – решил немедленно директор и затем стал слушать обстоятельный и чересчур подробный доклад добросовестного финляндца, обнаруживая на своем красивом и умном лице некоторое нетерпение и оттого, что Арнольд Оскарович «тянет» то, что можно объяснить в пять минут, и оттого, что он, директор завода, принужден слушать другого, вместо того чтобы его слушали. А он любил-таки поговорить и любил, чтобы слушали его действительно подчас блестящие речи.

Когда в тот же день, перед обеденным шабашом, начальник мастерской велел позвать в свою контору Антона Щигрова и объявил ему о повышении и о жалованье, наш приятель, которого мы по-прежнему будем называть Антошкой, зарделся от радостного волнения и, видимо подавленный неожиданным счастьем, в первое мгновение, казалось, не смел верить словам начальника. Такого блестящего начала он не ожидал!

– Надеюсь, Щигров, вас не испортит такое быстрое повышение. Сколько я помню, это,

кажется, первый пример на заводе, чтобы такой молодой человек, почти мальчик, из учеников прямо сделан был помощником мастера...

Действительно, худощавый, маленький, с бледноватым выразительным лицом, оживленным радостным выражением, сверкавшим в его живых карих умных глазах, Антошка казался моложе своих восемнадцати лет и напоминал бы прежнего подростка Антошку, ходившего с ларьком, если бы не пробивавшиеся черные усики и едва заметный пушок на подбородке.

– Очень вам благодарен, Арнольд Оскарыч! – пробормотал наконец Антошка.

– Меня благодарить не за что. Повышением вы обязаны своим способностям и добросовестному отношению к работе... Вы и теперь многое понимаете не хуже мастера, а со временем, я уверен, будете превосходным мастером... Только смотрите, Щигров, оправдайте мои надежды, – продолжал, выговаривая слова с заметным акцентом, тихим, ровным и несколько монотонным голосом Арнольд Оскарович, любивший читать нравоучения мо-

людям мастеровым, особенно тем, которых отличал.

– Постараюсь, Арнольд Оскарыч.

– А главное, не закутите, как кутят многие из ваших товарищей.

– Я вина в рот не беру, Арнольд Оскарыч.

– Приятно это слышать, очень приятно. И никогда не пейте водки, Щигров... Водка больше всего губит мастерового и лишает его всякого самолюбия. А без самолюбия какой может быть человек?.. И вообще, Щигров, избегайте не только пьянства, но и других кутежей... Вы понимаете, о чем я говорю? Будьте нравственным человеком. О, это очень важно и для здоровья и для хорошей работы...

– Я глупостями не занимаюсь! – прошептал конфузливо Антошка.

– Очень похвально, и не занимайтесь глупостями... При порядочном образе жизни вы можете откладывать часть жалованья и класть деньги в сберегательную кассу. У вас, таким образом, будет всегда запас на всякий случай... А это очень хорошо – иметь запас... Предусмотрительный человек должен всегда иметь запас. Ведь вам некому помогать? У

вас, как я слышал, родители умерли?

– У меня, Арнольд Оскарыч, родителей нет, это точно, но зато есть один человек, который для меня, можно сказать, дороже отца и матери. Он меня человеком сделал, и я, пока жив, буду для него работать! – горячо проговорил Антошка.

– Это делает вам честь. Благодарность – редкая добродетель... Ваш покровитель, значит, бедный?

– Бедный. У него ничего нет... Племянница ему помогает...

– А теперь хотите вы?

– Я-с.

– Рад узнать, что вы исполняете свой долг, как следует порядочному человеку. Надеюсь, что в непродолжительном времени вы будете получать и большее жалованье, если станете так же хорошо работать, как работали до сих пор.

– Я изо всех сил буду стараться, Арнольд Оскарыч.

Взгляд больших, слегка выпяченных глаз начальника мастерской с видимым благоволением скользнул по всей тщедушной фигур-

ке Антошки и снова принял несколько строгое выражение, когда Арнольд Оскарович внушительно произнес:

– Но только знайте, Щигров, что как я вас ни ценю, а за малейшее упущение буду строго взыскивать, и даже строже, чем с других... Помните это и не надейтесь ни на какие послабления с моей стороны...

– Я ни на чьи послабления не рассчитывал! – не без достоинства ответил Антошка.

– Да, вот еще что...

Тут добросовестный финляндец на минутку замялся и продолжал уже не начальническим, а ласково-конфиденциальным тоном, несколько понижая голос:

– Это, конечно, не мое дело, но я искренно желаю вам добра и потому считаю долгом предупредить вас: не очень-то дружите с машинистом Ермолаевым... Вы, кажется, дружны с ним?.. Можете не отвечать, коли не хотите... Это ваше частное дело! – прибавил Арнольд Оскарович.

– Да, я приятель с ним...

– Он отличный работник и не пьяница, но только беспокойного образа мыслей... Поня-

ли?

– Понял, Арнольд Оскарыч... Только никаких дурных разговоров мы не ведем...

– Ну, я вас предупредил. Ступайте обедать, сию минуту звонок! – прибавил Арнольд Оскарович и ласково кивнул в ответ на поклон Антошки.

XXXVII

В этот холодный, хмурый и мокрый октябрьский день Антошка шел с завода обедать домой с такою быстротой, с какою, бывало, в прежние времена своей безотрадной жизни нагонял какую-нибудь «миленькую барыньку», подававшую надежду снабдить копеечкой.

Он не чувствовал ни пронизывающего холодного ветра, дувшего с Невы, ни сырости, ни холода, так как костюм его был в надлежащей исправности – «граф» особенно об этом заботился и, случалось, сам чинивал Антошкины вещи – и, переполненный счастьем, спешил поделиться новостью с «графом» и обрадовать радостной вестью своего пестуна и друга.

Едва ли в этот скверный день был во всем Петербурге такой счастливый человек, как Антошка. Самые радужные мысли вихрем проносились в его голове, чередуясь с невольными воспоминаниями о горемычном прошлом, словно бы для того, чтобы еще ярче оттенить прелесть настоящего.

Давно ли он, оборванный и несчастный, не слыхавший ни одного ласкового слова, бегал нищенкой и ходил с тяжелым ларьком по улицам, упрашивая прохожих купить конвертов и бумаги, чтобы принести выручку и не испробовать ремня «дяденьки» и ругани «рыжей ведьмы». (Где-то они теперь?) Давно ли он зябнул на улицах и часто голодал?..

А теперь он окончил курс, имеет хорошее место и жалованье и в недалеком будущем будет мастером – не даром же все хвалят его работу и не даром же он сам любит свое дело.

Только в последнее время, когда Антошка значительно развился благодаря влиянию школы, чтению и философских бесед «графа», он понял, что бы могло быть с ним, брошенным созданием, если бы не «граф». И то, что прежде Антошка лишь чувствовал, теперь по-

нял и оценил. Оценил все, что сделал для него единственный человек, принявший в нем горячее участие, понял всю деятельную силу его любви и безграничность забот о нем, направленных к тому, чтобы избавить его от ужасов нищенской жизни и сделать его человеком.

Бесконечно благодарный и любивший теперь «графа» сознательнее, чем прежде, Антошка был в восторге, что так скоро сбылись его заветные мечты, те самые мечты, которые нередко занимали Антошку с той памятной ночи, когда он, избитый, окровавленный и продрогший, прибежал от «дяденьки» и был согрет ласкою и участием, призрен и принят под покровительство таким же нищим и бездомным, каким был и Антошка. И с той только поры он почувствовал, что жизнь может быть мила.

Теперь он может отплатить своему другу не одною только беспредельною привязанностью. Теперь Александру Ивановичу не нужна ничья посторонняя помощь. Ему, преждевременно состарившемуся от долгих лет нищенской жизни, часто хворающему, не нуж-

но больше трудить слабых глаз и сидеть не разгибая спины по несколько часов в день за перепиской, чтобы заработать несколько рублей для того, чтобы побаловать развлечениями и лакомствами лишний раз того же Антошку. Теперь он будет заботиться о нем и баловать «графа». Теперь у них будет пятьдесят рублей в месяц своих кровных денежек, и никакой чужой помощи им не надо. А впереди в воображении Антошки последовательно пробегали крупнейшие цифры будущего жалованья и, доходя до цифры сто, говорили ему и о двух комнатах, и о сигарах для Александра Ивановича, и о красном вине для него за обедом, и о маленькой даче где-нибудь поблизости, на Петровском Острове например, где бы Александр Иванович мог поправиться, а то он все покашливает и нет-нет да пожалуется, что болит грудь...

Квартира «графа» и Антошки была недалеко от завода, в одной из дальних линий Васильевского Острова, у Среднего проспекта. Они уже два года как переехали от Никифоровых, с тех пор как сын-технолог, окончив курс, получил место на одном из заводов в Екатери-

нославской губернии и с ним уехали мать и сестра, здоровье которой требовало теплого климата.

Эти милые, добрые люди, у которых так хорошо прожили больше года «граф» и Антошка, пользуясь расположением всех членов семьи, не забывали своих прежних жильцов. Раз в месяц брат или сестра писали «графу», живо интересуясь и им и его сожителем, и «граф» отвечал длинными, благодарными письмами, описывая успехи Антошки и отчасти свои по переписке статистических таблиц, которую ему давала по поручению барышни Никифоровой одна студентка.

Минут через пятнадцать, которые показались в этот день Антошке ужасно долгими, он торопливо прошел двор большого дома и взбежал в третий этаж флигеля, где «граф» снимал комнату со столом у старого музыканта немца, жившего вдвоем с супругой в трех комнатах, чистеньких, опрятных, как и сами хозяева.

Маленькая, толстененькая и румяная старушка с седыми буклями, неизменной потертой плюшевой накидушкой на плечах отво-

рила двери и, впустив Антошку, не без некоторого удивления проговорила на очень плохом русском языке:

– Сегодня вы на пять минут раньше пришли, Антош.

– Раньше, Адель Карловна... Торопился.

– Кушать, верно, очень захотели? – довольно приветливо осведомилась хозяйка, благоволившая к своим жильцам и за то, что они аккуратно платили, и за то, что были тихие жильцы и не делали, как она выражалась, Schweinerei [19] из своей комнаты.

– Да, Адель Карловна, – весело и торопливо отвечал Антошка, готовый на радостях обнять эту степенную, аккуратную, немного прижимистую и сентиментальную Адель Карловну.

– Марта сейчас подаст...

Но Антошка едва ли слышал последние слова, так как, сбросив пальто, стремительно бросился в комнату, повергнув в некоторое недоумение почтенную немку и своею забывчивостью обтереть ноги о половик и своим особенно радостным, возбужденным видом.

«Верно, какое-нибудь маленькое жалова-

ные назначили!» – мысленно решила практическая старушка, приурочивавшая все житейские радости к получению денег.

И, снедаемая любопытством узнать, в чем дело, и желанием сообщить что-нибудь новенькое своему Адольфу Ивановичу, когда он вернется с репетиции из театра, где он играл вторую или третью скрипку, – Адель Карловна приложила ухо к двери комнаты жильцов в надежде что-нибудь услышать. Но двери были плотно закрыты, и Адель Карловна отошла несколько обиженная и отправилась в свою сверкавшую чистотой кухню, чтобы посмотреть, как будет отпускать жильцам обед «этот глупый русский свин Марта», как называла немка рябую, неуклюжую и ленивую Марфу, действительно не отличавшуюся большим пристрастием к чистоте, хотя и жила, как она говорила, «у немцев» целых пять лет, получая небольшое жалованье и вечно слыша от немки посрамление русской национальности.

В ожидании прихода Антошки «граф», только что окончивший переписку полустраницы цифр, ходил, расправляя свои усталые члены, медленными шагами по небольшой,

опрятной и уютной комнате, убранной в немецком вкусе, с бисерными подставочками на столиках, с вышитой подушкой на диване и с идиллическими плохими литографиями на стенах. Маленький обеденный стол посреди комнаты был накрыт чистой скатерткой, и у каждого из двух приборов лежали салфетки в бисерных же кольцах, явившихся знаком внимания Адель Карловны в день годовщины пребывания у нее на квартире жильцов.

За эти три года «граф», несмотря на спокойную и самую правильную жизнь, какую он вел, сильно постарел и осунулся. И волнистые его волосы и борода совсем заседали. Глубоко ввалившиеся темные глаза хотя и сохранили еще живость и порой светились юмором и насмешкой, но в них уже не было прежнего блеска. Лицо его потеряло одутловатость и землистый цвет кожи, зато на нем залегло более морщин и черты заострились, придавая физиономии «графа» тот изнуренно страдальческий вид, в каком изображают монахов-подвижников.

Он не мог пожаловаться ни на какие острые страдания – по временам грудь пыла, но

не очень сильно, и беспокоил сухой кашель, – но он чувствовал, что вообще слабеет и после часа работы или после ходьбы устает, чувствовал какую-то тяжесть в ногах и отсутствие гибкости в членах. Видно было, что последствия прежней жизни начинают сказываться и постепенно разрушают его когда-то крепкий организм.

Но «граф», привязавшийся снова к жизни с тех пор, как она ему улыбнулась, все надеялся, что эта усталость и эта слабость пройдут. Он бодрился и с какою-то инстинктивной предусмотрительностью заботился теперь о своем здоровье и частенько показывался в приемные часы у женщины-врача Елизаветы Марковны, лечившей его от воспаления легких, советовался с ней, принимал какие-то пилюли, остерегался простуды, словом, берег себя и подчас строил планы о будущем, о далеком будущем вместе с Антошкой.

Когда Антошка ворвался в комнату, «граф» сразу догадался по его сияющему лицу, что случилось что-то приятное.

– Ну, рассказывай, рассказывай скорей, Антоша... Вижу, брат, по твоей физиономии, что

ты в восторгах. Что случилось? Новую машину выдумал, или тебя ваш строгий чухна [20] похвалил? – говорил «граф», сам улыбаясь при виде неудержимой радости, которою, казалось, был переполнен Антошка.

– Помощником мастера назначили, Александр Иванович, – почти крикнул Антошка.

«Граф», знавший благодаря Антошке все иерархические степени заводских служащих, вполне проникся важностью этого повышения и радостно проговорил:

– Ну, поздравляю тебя, Антоша, поздравляю тебя, родной... Год на заводе – и уже помощник мастера... Это что-то необыкновенное... Иди, брат, вымой скорей руки, чтоб я их пожал... Кстати, вот и Марфа несет произведение Адели Карловны.

– И жалованье назначили, Александр Иванович! Пятьдесят рублей в месяц! – почти выкрикнул Антошка, уходя за перегородку и принимаясь за мытье.

– Пятьдесят рублей!? – воскликнул «граф», не веря своим ушам.

– Пятьдесят! – повторил Антошка, отфыркиваясь. – С первого числа. И обещали сде-

лать мастером.

– Молодец, Антоша... Ты блистательно начинаешь свою карьеру... В восемнадцать лет – и уже пятьдесят рублей... Да ведь это жалованье поручика... Ай да справедливый «печальный пасынок природы»!.. [21] Ай да ваш строгий Арнольд Оскарович! Он, значит, оценил тебя, понял, какой ты талантливый человек! – радостно говорил «граф».

И когда Антошка вышел из-за перегородки, «граф» крепко пожал руку Антошки, потом привлек его к себе, обнял и что-то долго не выпускал Антошку из своих объятий, желая скрыть радостные слезы, которые невольно застилали глаза.

– Ну, теперь садись и ешь... Подробности вечером... Ведь ваш шабаш не долг. Так пятьдесят рублей, Антоша? И ты будешь мастером? И, конечно, скоро... Одним словом, теперь ты на своих ногах... Я так и ждал... Ты и мальчишкой был всегда сообразительным умницей... О, ты, брат, далеко пойдешь... Непременно какую-нибудь машину да выдумаешь... Ешь, ешь... Вечером расскажешь, как это случилось и что тебе начальник мастер-

ской говорил... Так с первого числа? Теперь, Антоша, ты богат и можешь завести и часы, и сшить себе новую пару, и пользоваться иногда развлечениями...

Но вдруг «граф» остановился, изумленный внезапной переменой лица Антошки. Куда девалась сиявшая на нем радость!

– Разве жалованье, которое я буду получать, мое, а не наше, Александр Иванович? – взволнованным и словно бы недоумевающим тоном воскликнул Антошка, и лицо его приняло бесконечно грустное выражение обиженного ребенка. – К чему вы говорите о каких-то часах, о новой паре? Разве мы не будем оба жить на жалованье?.. Вы, значит, не хотите, чтоб я мог хоть чем-нибудь отплатить за все, что вы для меня сделали... Я... я... жизнь... готов... отдать за вас, а вы...

Антошка больше не мог продолжать.

О, какие мгновения бесконечного счастья испытывал «граф», слушая эти порывистые, прочувствованные излияния благородного сердца! Каким великим вознаграждением за все страдания горемычной его жизни была эта обида привязанного существа! И как хоро-

ша казалась жизнь! И каким теплом охватывало его душу!

С трудом удерживаясь от слез, подступавших к горлу, «граф» поглядел на Антошку с восторженным умилением и проговорил:

– Так вот отчего ты обиделся!? А я и не думал тебя обидеть... Разве я не знаю, не чувствую твоей привязанности?

– Но вы говорили о часах... о платье...

– Ну, говорил... Так ведь я получаю тридцать пять рублей от племянницы.

– Зачем их получать? Теперь мы сами проживем без посторонней помощи! – не без горделивого чувства произнес Антошка и, снова повеселевший, поднял голову и смотрел на «графа». – Еще как проживем-то! Это на первое время мне дали пятьдесят, а через год, наверное, дадут семьдесят пять... Я буду работать, стараться... Мы теперь ни от кого не будем зависеть...

– «Мы», – повторил «граф» и печально усмехнулся. – Что ж, ты ведь прав, мой милый, я с большим удовольствием буду жить на твой счет, чем на чей-нибудь другой... Корми же меня, ни к чему не годного старика...

Ты ведь единственный близкий мне на свете.

– А то как же! – радостно поддакнул Антошка.

– И умру на твоих руках.

– До этого еще долго, Александр Иванович. А главное: не трудите себя этой перепиской... Ну ее... Оставьте! Вам это вредно!

– Коли так приказываешь – оставляю! – шутливо говорил «граф». – Она действительно очень меня утомляет. Однако что же ты не ешь котлет...

– Не хочется.

– И мне не хочется... Вечером поедим... Убирайте, Марфа... Да скажите Адели Карловне, что мы не ели ее котлет не потому, что они дурны, а потому... потому, что мы с Антошей очень счастливы. Понимаете?

Марфа взглянула ошалелыми глазами на обоих жильцов и молча убрала со стола.

«Граф» закурил свою копеечную сигару и заговорил:

– Ужасно сильно развито у тебя чувство благодарности, я тебе скажу, Антоша. Оно вообще редко у людей... Ты помни это и никогда на него не рассчитывай. И ты преувеличива-

ешь это чувство по отношению ко мне...

– Почему это?

– А потому, что я не знаю, кто кому больше обязан: ты мне или я тебе?

– Конечно, я... Не будь вас, чем бы я был теперь... Ходил бы с ларьком и терпел от дяденьки...

– А не явись ты ко мне в ту ночь, давно бы я умер где-нибудь на улице пьяный... Да, Антоша. И не жалел бы жизни... А ты возродил меня... Ты снова заставил полюбить жизнь... И вот теперь я не один, и я счастлив благодаря тебе... Ну, да что считаться. Но не забывай только одного, что обоих нас выручил случай... Не будь этой доброй феи племянницы, не устроилось бы все так хорошо... Я ходил бы по вечерам на «работу», выпрашивал бы грибенники, но на них, брат, ты знаешь, не составишь состояния и даже теплого пальто не купишь. По всей вероятности, я слег бы в больницу, и что бы тогда с тобой случилось, бедняга?.. Помнишь, ты хотел идти в газетчики?

– И пошел бы... И мы с вами не пропали бы!

– Я, во всяком случае, бы пропал... Впро-

чем, к чему вспоминать прошлое, когда настоящее нам улыбается... Не будем, Антоша. А ты, во всяком случае, как-нибудь сходи к Нине... Она обрадуется, когда узнает о твоих успехах от тебя самого... И поблагодари ее... А ты уж бежишь на завод?

– Пора, Александр Иванович.

– Ну, до свидания. Вечером поболтаем, ты мне расскажешь, что тебе говорил твой начальник, как приняли твое повышение товарищи... Все, все расскажи... До свидания... Смотри, у машин осторожней... Ты ведь слишком прыткий...

Когда Антошка вышел из комнаты, «граф» пересел в кресло и впал в то блаженное настроение, когда человеку кажется, что счастьем его не будет конца.

С этими мыслями он незаметно задремал.

Его в последнее время часто клонило к дремоте.

XXXVIII

Тихий стук в двери разбудил его.

– Войдите! – проговорил он, с трудом поднимаясь с кресла и напрасно стараясь принять бодрый вид.

Колени его подгибались, и ноги стояли нетвердо.

Вошла Нина.

– Какой счастливый ветер занес вас ко мне, Нина? – радостно приветствовал «граф», делая несколько шагов навстречу к племяннице.

Он поцеловал Нину и, усадив на диван, тотчас же стал рассказывать о том, что Антоша только что получил место – он, конечно, объяснил, какое важное для начала, – и ему назначили, восемнадцатилетнему мальчику, пятьдесят рублей жалованья.

– Вот какой он, Антоша... О, он далеко пойдёт... Это необыкновенно талантливый мальчик... И какое золотое сердце!

«Граф» передал Нине сцену за обедом и прибавил:

– Непременно требует, чтоб я был его пан-

сионером и чтоб никто больше не заботился обо мне... Вы понимаете, Нина, я не смею отказать ему! – радостно говорил «граф».

– Еще бы... Иначе вы обидели бы его, дядя.

– То-то и есть. А разве я захочу обидеть моего мальчика? Вот почему с первого ноября вы уже прекратите мне выдачу пенсии из вашего казначейства. Теперь мы богаты и счастливы благодаря милой фее. Спасибо вам, Нина!

– Но разве, дядя, и мне нельзя о вас заботиться? Ведь эти деньги вам давно назначены. Позвольте по-прежнему посылать вам.

Но «граф» протестовал. Никак нельзя. Антоша не позволит. И то четыре года они пользовались пенсией. Теперь Нина может быть доброй феей кого-нибудь другого, мало ли горемык? Ведь Антоша получил пятьдесят рублей на первое время, через год он получит семьдесят пять, а когда сделают мастером, он будет получать сто пятьдесят рублей в месяц.

Нина глядела на это исхудавшее бледное лицо дяди, озаренное счастливой улыбкой, на эту впалую грудь, и ей почему-то казалось, что он слишком фамильярно обращается с бу-

дущим.

– Ну, как хотите, дядя... Я рада за вас и за Антошу... Вот только вы что-то похудели немножко с тех пор, как я видела вас в последний раз... Здоровы ли вы?..

– Ничего себе, скриплю... Вот слабость стал чувствовать в последнее время, но, надеюсь, это пройдет... Года все-таки свое берут, ну и жизнь-то моя прежняя была не особенно правильная, совсем даже неправильная, Нина.

– Быть может, хотите посоветоваться с доктором, дядя? Я к вам привезу специалиста.

– Спасибо, Ниночка, спасибо... У меня есть одна знакомая докторша, славная барыня. Я с ней советуюсь и, по ее совету, ходил к специалисту. Он говорит то же, что и докторша: надо беречься. Я и сделался трусом... Забочусь о своей персоне, Нина, точно принц крови... Теперь, видите ли, мне очень жить хочется... Хоть бы лет пять еще протянуть! – проговорил, улыбаясь, «граф». – Ну, а вы как поживаете, Нина? Здоровы, надеюсь?

– Здорова.

– А об остальном нечего и спрашивать... Живется хорошо, конечно?

Нина встрепелулась, точно раненая птица. В выражении ее лица и глаз было что-то бесконечно грустное.

– Нехорошо, дядя! – проронила она.

– Нехорошо? Отчего нехорошо? Что с вами, голубушка? – с нежным любовным участием спрашивал «граф», пораженный печальным видом племянницы. – Вы молоды, хороши, имеете средства, добры и отзывчивы, живете не праздно, как другие... У вас образованный молодой муж, светило науки, который, конечно, любит вас и разделяет ваши взгляды...

Нина несколько мгновений молчала, и вдруг слезы тихо закапали из ее глаз.

– Нина! Простите... Я своими дурацкими вопросами только расстроил вас, – извинялся «граф», целуя маленькую бледную руку Нины. – Я принесу воды... успокойтесь.

И «граф» поднялся с кресла.

– Не надо; сидите, дядя... Это сейчас пройдет. Я нарочно приехала, чтобы рассказать вам все... все... Вы ничего не знаете... Я прежде о себе не рассказывала и редко у вас бывала... Я ведь совсем одинока, милый дядя! – говорила молодая женщина, когда

несколько успокоилась.

– Одиноки? А муж? – невольно воскликнул «граф».

Он видел его раз или два.

Влюбленная и счастливая, вышедшая замуж против воли отца за молодого профессора, далеко не родовитого происхождения, что главным образом и смущало его превосходительство, Нина два года тому назад, вскоре после свадьбы, приезжала с мужем к дяде.

Он не понравился тогда «графу», этот молодой, красивый и уже известный ученый. Он показался слишком уж кокетливым и в манерах и в костюме, слишком решительным в приговорах и влюбленным в себя. Несмотря на чрезвычайную любезность профессора, от него веяло холодом.

– Я расхожусь с мужем! – ответила Нина. И после паузы спросила: – Вы удивлены, дядя?

– Нисколько, Нина... Я всего насмотрелся на своем веку и мало чему удивляюсь... Признаюсь, ваш муж мне не нравился... Так, первое впечатление старого бродяги... Но вы, Нина, кажется, его любили?

– Любила, но не знала его. Тогда он казался

другим.

«Обыкновенная история» [22], – подумал «граф» и проговорил:

– Бедная! Такая молодая – и такое разочарование!

– И не одно! – грустно проронила Нина...

«А впереди еще сколько!» – пронеслось в голове у «графа».

– Что же, он не любит вас?

– Он никого не любит, кроме себя, и женился, рассчитывая на приданое... Я это хорошо знаю теперь, к несчастью слишком хорошо, дядя... А тогда я увлеклась им... Среди мужчин, которых я встречала в нашем обществе, он так выдавался... Вы ведь хорошо знаете это общество?

– Знавал, Нина...

– Я хотела уйти из него... Я чувствовала, что так жить, как я жила, невозможно... Меня угнетала эта бесцельная, праздная жизнь... эти балы... эта безумная роскошь небольшого кружка в то время, когда у десятков тысяч нет куска хлеба... К тому же и дома... Отец...

Нина на секунду остановилась, точно ей было тяжело досказать то, что причиняло ей

страдание. Оно в эту минуту выражалось в чертах ее лица, во всей ее прикинутой фигурке.

– Я не смею осуждать отца, – произнесла она наконец упавшим голосом, – я все-таки люблю папу, и мне жаль его, но я... я потеряла к нему уважение. Ведь это ужасно, дядя. Не правда ли?.. Не уважать отца?..

«Граф» угрюмо молчал, опустив голову.

Что мог и смел он сказать дочери человека, которого давно считал подлецом. Чем мог он утешить Нину?

И в первый раз, кажется, во всю его жизнь в нем пробудилось чувство сострадания и жалости к брату. Несмотря на все свое богатство и важное положение, он несчастлив. У брата нет такого преданного, любящего создания, какое есть у него, у бывшего отверженца.

– Я с радостью приняла предложение, – продолжала молодая женщина, – я любила этого человека, я ждала новой, деятельной жизни, новых людей и вместо того нашла почти то же, что и в нашем светском обществе. Та же погоня за карьерой, за деньгами... То же равнодушие к вопросам, не имеющим отно-

шения к их специальности, те же интриги... И это ученые! Профессора!.. Мой муж оказался таким же... Разница в наших характерах, взглядах, мнениях обнаружилась скоро, и наконец дошло до того, что я просила развода.

– Он дает его?

– Охотно. Тем более что ведь женитьба не принесла ему ничего... Отец не дал мне приданого... Он только сделал тряпки и выдает мне по двести рублей в месяц... А муж рассчитывал не на это и недавно настаивал, чтобы я ехала к отцу и просила его дать мне хоть половину обещанного состояния теперь же... Это было уже слишком!

– Из современных ранних молодых людей! – протянул «граф». – И, верно, он все это объяснял по науке?

– Вроде этого. О, говорит-то он красноречиво и любит говорить... Но мне его речи кажутся бездушными... Прежде, когда он был женихом, он не то говорил, что теперь... И с какой страстью! И какую разумную жизнь обещал... Все это была одна ложь. И как подумаешь, что этот человек профессор, поучает других, а сам... О, как все это отвратительно, дядя!

– Хорошо еще, что вы не поздно узнали этого ученого и, смею думать, совсем разлюбили его. Не правда ли, Нина? – осторожно спросил «граф».

– Он мне чужой совсем. Я к нему равнодушна! – решительно проговорила молодая женщина.

– Вот это отлично. Нет по крайней мере лишних страданий.

– Они были, дядя. Ведь я его любила!

Несколько минут продолжалось молчание.

Высказав все, что мучило ее, Нина казалась покойнее.

– Что ж вы намерены теперь делать, Нина? Где будете жить? У своих?

– Папа был у меня и настоятельно звал к себе, и мама тоже... Бедные! Они любят меня и в отчаянии, что у них такая неудачная дочь. И сделала mesalliance [23], и разводится... Но, как мне ни тяжело было огорчать их, я отказалась. Опять вернуться к этой жизни!? Боже сохрани!.. Мне опротивел Петербург.

«Граф» с благоговением смотрел на молодую женщину. Сколько характера и энергии в этом создании!

– Вы, значит, уезжаете?

– На днях уезжаю, дядя... До отъезда я еще буду у вас...

– Спасибо, спасибо, милая... Вы не перестаете баловать меня... Надеюсь, и весточку о себе когда-нибудь дадите?.. Вы куда уезжаете?

– Далеко, дядя, в Самарскую губернию.

– К кому?

– К тете Тане, к маминой сестре. Она славная, добрая и простая такая, совсем не похожа на наших дам. Зовет к себе в деревню... Она постоянно там живет после смерти своего мужа и скучает... Она обещает найти мне дело в деревне, если только я не соскучусь по балам и у меня хватит терпения быть полезной другим... Пишет, между прочим, что у них в уезде совсем нет школ и что надо их устроить. Поживу там и, если понравится, быть может и останусь там... Сюда буду приезжать, чтобы навестить своих, взглянуть на вас, дядя, как вы живете со своим другом... А средства на устройство школ у меня будут. Папа оставляет мне мои двести рублей в месяц. Видите ли, какая богачка! – заключила Нина.

– Чудная вы! – умиленно воскликнул

«граф».

И вслед за этим как-то особенно почти-тельно поцеловал руку Нины. Она горячо обняла старика и проговорила:

– Если я уж не совсем пустая, то я и вам обязана, дядя. Вы мне на многое открыли глаза.

– Своему доброму сердцу обязаны, и никому более!

Нина еще просидела несколько времени у «графа».

Она строила планы будущей жизни, говорила, что ее манит деревня и что там она надеется совсем забыть о своих неудачах личной жизни, и вдруг воскликнула, как бы озаренная внезапной мыслью:

– А знаете что, дядя?

– Что, Нина?

– Что бы и вам приехать в деревню? Тетя, наверное, будет рада. Там вы скоро поправитесь и не будете чувствовать ни усталости, ни слабости. Хотите? Я напишу вам из деревни, и вы приезжайте.

– А мой Антоша?

Нина виновато улыбнулась, взглядывая на

мертвенно-бледное лицо с заострившимся носом и обтянутыми щеками, и стала собираться, бесконечно жалея дядю.

XXXIX

Пришла весна.

«Граф» худел и слабел с каждым днем в течение зимы и теперь с трудом мог делать несколько шагов по комнате. Большую часть времени он сидел в кресле или лежал на постели.

Но он и думать не хотел, что дело его проиграно окончательно и что смерть уже витает над его изголовьем. Он, напротив, питал какую-то упорную надежду, что поправится, как только наступят теплые внешние дни, а там и лето... Антошка обещал нанять на Петровском Острове маленькую дачу... Там, на чистом воздухе, он окончательно выздоровеет.

Даже зеркало, отражавшее лицо мертвеца, не колебалось этой уверенности. Не смущали его и исхудалые ноги, и руки, и выдающиеся на плоской груди ребра...

И он добросовестно глотал какие-то пи-

люли, принимал микстуру и насильно, без всякого аппетита, пил молоко и ел бульон и мясо.

Еще бы! Ему теперь так хотелось жить, этому горемычному бродяге, бесконечно счастливому в это последнее время, когда они жили с Антошкой на свои кровные денежки. И как же Антошка баловал его: и вино ему покупал, и недурные сигары, и на газету для него подписался, и по вечерам, возвратившись из завода, читал ему или рассказывал про заводские дела и новости.

Как же не хотеть жить, когда на каждом шагу видишь трогательную преданность близкого существа и сам бесконечно любишь его и радуешься его успехам. А Антошка решительно преуспевал. За какую-то его выдумку («граф» при самом подробном объяснении автора «выдумки» не мог понять, в чем дело) ему выдали недавно триста рублей награды, и сам директор завода призывал Антошку и хвалил его...

И нередко «граф», замечая, что Антошка грустен, говорил ему, стараясь придать своему глухому голосу веселый тон:

– Ты что, голубчик, нос опустил?.. Думаешь, я умирать собираюсь. Дудки, братец! Опольевы живучи... Вот только тепло придет... Ты увидишь...

– И вовсе не думаю, Александр Иванович... Еще как поправитесь... Вот как теплое воскресенье придет, поедем дачу нанимать... Деньги у нас, слава богу, есть...

И Антошка употреблял чрезвычайные усилия, чтобы казаться веселым и не разрыдаться, слушая эти полные надежды слова.

Ему сказали доктора, что дни «графа» сочтены, да он и сам видел это, и горю его не было границ. Нередко он выбегал из комнаты на лестницу и плакал, как ребенок. Нередко во время работы на заводе он утирал навертывавшиеся слезы – ведь «граф» был у него единственный человек, которого он любил. И вдруг потерять его тогда, когда жизнь их обоих так хорошо устроилась!

И Елизавета Марковна, и другой доктор советовали перевести больного в больницу, но Антошка и слышать об этом не хотел, зная, что «граф» ни за что не согласится. И кто же будет по ночам около него?..

Каждое утро Антошка уходил со страхом, что вернется домой и не застанет в живых «графа», и каждое утро просил хозяйку дать знать на завод, если Александру Ивановичу будет плохо.

Несмотря на протесты «графа», в последние дни у него в комнате дежурила сиделка. Антошка настоял на этом, убедив «графа», что это необходимо. По крайней мере она будет аккуратно следить за приемами лекарства.

«Граф» в конце концов покорно согласился и заметил:

– Пусть будет по-твоему, а как потеплеет, мы, брат, сиделку спровадим... И то я тебе дорого стою... Слишком уж ты балуешь меня, Антоша... Роскошествуешь ты очень...

– Что вы, Александр Иваныч... И вовсе у нас немного выходит...

– Небось вижу... Вино-то одно чего стоит... Ну да, голубчик, скоро я тебя освобожу от этих расходов... Поправлюсь, и войдем в бюджет...

Антошка отворачивался, чтобы скрыть слезы.

В этот вечер, когда Антошка вернулся с завода, «граф» объявил, что чувствует себя гораздо лучше, и вместе с Антошкой пил чай, сидя в кресле. Он был особенно разговорчив и весел.

Напрасно Антошка останавливал его, объясняя, что ему вредно много говорить, «граф» не слушал и возбужденно, порывисто заговорил:

– Да что ты, братец, точно меня умирающим считаешь?.. Я жить хочу и буду жить... Слышишь, Антоша!.. Милый, дорогой мой... Довольно я мыкался, терпел унижения, делал подлости, пьянствовал... побирался... Я встретил тебя, такого же горемыку, бедного, брошенного... и твоя любовь привязала меня к жизни и пробудила во мне человека.

Он задыхался и все-таки продолжал, точно торопясь высказаться, глядя с бесконечной нежностью на Антошку:

– И теперь, когда я горжусь тобою, твоими успехами, когда я так привязался к тебе, моему умному, славному мальчику, и вдруг умереть... Нет... Я этого не желаю... Ты что же плачешь, мой милый... Зачем ты так смот-

ришь?.. Или в самом деле...

Выражение ужаса вдруг исказило черты «графа». Он шевелил губами, и звука не было. Он как-то жалобно замычал и бесконечно грустными глазами, точно моля о помощи, глядел на Антошку.

– Это ничего... пройдет... доктор говорил... ей-богу, ничего, Александр Иванович, – безумно выбрасывал слова Антошка и припал к холодеющей руке «графа», орошая ее слезами.

– Сейчас бегу за доктором, Александр Иванович.

«Граф» отрицательно помахал головой, не сводя тускнеющего взгляда с Антошки.

– Ну, так пошлю...

И Антошка выбежал, чтобы распорядиться.

Когда он вернулся в комнату, «граф» уж не дышал.

Через три дня за скромным гробом шли на Смоленское кладбище три человека: Антошка, бывшая квартирная хозяйка и прачка Анисья Ивановна, и Нина. Она приехала в Пе-

тербург, получив от Антошки телеграмму о смерти дяди.

Других родных он не известил.

Никто не говорил речей на могиле «графа». Только Антошка безутешно рыдал, и плакали Анисья Ивановна и Нина.

Возвращаясь с кладбища работать на завод, Антошка еще сильнее почувствовал свое сиротство. Но, сознавая себя одиноким, он знал, что благодаря покойнику он бодро и стойко выдержит битву жизни... Она уже улыбалась ему, еще недавно несчастному нищенке.

В то же лето на могиле «графа» красовался красивый железный памятник, весь сделанный руками Антошки.

...зазывал к себе в «лавру»... – Речь идет о так называемой Вяземской лавре, подворье, где ютилась петербургская беднота.

[^^^]

Лукулловское пиршество. – Выражение происходит от имени римского политического деятеля и полководца Лукулла (ок. 117–56 до н.э.); устраиваемые им пиры и празднества отличались чрезмерной роскошью.

[^^^]

Иоанн Кронштадтский (И.И.Сергиев, 1829–1908) – протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, церковный проповедник, влиятельный в правящих верхах России.

[^^^]

Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469–1527) – итальянский политический деятель, писатель. Убежденный сторонник объединения Италии. В своем основном произведении «Государь» доказывал, что раздробленность Италии может быть преодолена только под руководством сильной, не ограниченной никакими нравственными нормами диктаторской власти государя. Совокупность развитых им политических идей впоследствии получила название макиавеллизма.

[^^^]

...с хорошим шабли или с максотеном сес, за-
едая стильтоном или рокфором... – Шабли,
максотен – сорта французских вин; стильтон,
рокфор – острые, пахучие сыры.

[^^^]

...не канарейка, а синенькая... – бумажные деньги: канарейка – бумажка рублевого достоинства, называлась так по своему желтому цвету; синенькая – пять рублей.

[^^^]

Брильянтовые кабюшоны – правильно: кабошоны (франц.); здесь – отшлифованные соответственно природной форме алмазы.

[^^^]

"Times» («Таймс») – ежедневная английская газета консервативного направления;
«Figaro» («Фигаро») – французская газета консервативного направления.

[^^^]

...не справляясь в департаменте герольдии... – Департамент герольдии – в дореволюционной России так называлось учреждение, ведавшее делами о правах лиц и семей на причисление к дворянскому сословию.

[^^^]

...из лицеистов... – Так называли тогда тех, кто закончил Александровский лицей – тот самый, который в числе первого выпуска закончил А.С.Пушкин. Во второй половине XIX в. в Лицее возобладал дух дворянской сословной замкнутости и карьеризма.

[^^^]

...имя имел вполне соответствующее положению: Евгений Аркадьевич. – Евгений в переводе на русский язык означает – благородный.

[^^^]

Сударыня! Будьте милостивы, несколько грошей? (франц.)

[^^^]

Представление окончено? (итал.)

[^^^]

остроты (франц.)

[^^^]

Бриоши – сорт сдобной булочки.

[^^^]

"Слишком сурова» (франц.)

[^^^]

...издания «Посредника» и «Комитета грамотности»... – Издательство «Посредник» было основано в 1884 году по инициативе Л.Н.Толстого и основной своей целью имело издание высокохудожественной литературы для народа; непосредственное руководство издательством долгое время осуществлял В.Г.Чертков – друг и единомышленник Толстого. «Комитет грамотности» – общественная организация, занимавшаяся, между прочим, и изданием популярных книжек и брошюр.

[^^^]

Бесплатно? (лат.)

[^^^]

Свинушник (нем.)

[^^^]

Чухна – старое, с оттенком пренебрежения,
название финнов.

[^^^]

..."печальный пасынок природы» – из поэмы Пушкина «Медный всадник» («Вступление») (1833); в стихе речь идет с финне.

[^^^]

"Обыкновенная история». – Здесь употреблено выражение, ставшее крылатым после выхода в свет романа И.А.Гончарова «Обыкновенная история»; означает оно историю превращения романтически настроенного молодого человека в черствого и расчетливого дельца.

[^^^]

Неравный брак (франц.)

[^^^]